

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Владимир Бутенко Искушение Микеланджело Роман	3
Татьяна Третьякова-Суханова Баба Феня Рассказ	55
Сергей Скрипаль Забытый контингент Повесть	67
Иван Аксёнов Рассказы	123
Виктор Кустов Увидеть и понять Глава из романа	197

ПОЭЗИЯ

Алексей Седугин Стихотворения.....	63
Екатерина Полумискова Стихотворения.....	115
Елена Гончарова Стихотворения.....	189

ЛЕГЕНДЫ

СТАВРОПОЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Тамара Дружинина Художник Горбань	173
---	-----

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Николай Блохин Доброе сердце, добрый талант... ..	265
---	-----

КРАЕВЕДЕНИЕ

Роман Нутрихин Клад царского конвоя	253
---	-----

Главный редактор
Владимир Бутенко



*Литературное
Ставрополье
№4 (2023)*



ББК 84(2Рос=4Ст)
УДК 821.161.1
Л 64

Редакционная коллегия:

**И. Аксенов, Н. Блохин, О. Воропаев,
Е. Гончарова, А. Куприн, Е. Полумискова,
С. Скрипаль, Т. Третьякова-Суханова**

Л64 Литературное Ставрополье. Альманах № 4 (2023) — Калининград: РА Полиграфычъ, 2023. — 1000 экз. — 272 с.

ISBN 978-5-6050716-2-4

Отпечатано в ООО «РА Полиграфычъ».

Адрес редакции:

355033, г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 78.
Тел. (8652) 26-31-50

Рукописи не рецензируются
и не возвращаются.

ISBN 978-5-6050716-2-4



9 785605 071624 >

ИСКУШЕНИЕ МИКЕЛАНДЖЕЛО

Роман¹

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I НОЧНАЯ МУЗЫКА

На исходе минувшей зимы Флоренцию — будто молнией — опалила новость о случившемся сретенской ночью великом знамении. Переходя от уст к устам, обрастая новыми пугающими подробностями, она быстро разлетелась по всей тосканской области. Как утверждали свидетели небесного дива, — некий вентурино², чей экипаж оказался в тот час на снежном Чизанском перевале, двое монахов из Эмполи и трактирщик Альберто с болонской дороги, они видели, как в звездной выси появился вдруг огромный пламенеющий Крест, который при страшном ударе грома рассыпался и пал на землю огненным

¹ Журнальный вариант.

² Вентурино (итал.) — извозчик на дальние расстояния.



**Владимир
БУТЕНКО**

Проза



дождем. Это невероятное, труднообъяснимое событие астрологи и всеведущие сивиллы в один голос истолковали как знак гнева Божия, грозящий стране в скором будущем тяжелыми испытаниями.

Да и как усомниться в данном пророчестве, если армия императора Карла V, разграбившая Рим два года назад, находилась неподалеку, близ Апулеи и Милана, и в любой момент могла напасть на флорентийское государство. Наемные испанские и германские головорезы, обagrившие руки невинной кровью, ни перед чем не остановятся! Тем более, что с ними всячески искал дружбы папа Климент VII, пытающийся вернуть своё владычество. И, понимая это, многие тосканцы, отнюдь не благочестивые католики, приутихли в спорах и охотней внимали пастырям и посещали мессы, вымаливая у Санта-Марии всемилостивое заступничество. Впрочем, и тут не обошлось без досужих скептиков, заподозривших очевидцев «сретенского чуда» (как выяснилось, родом из одного селенья) в плутовстве и злонамеренном сговоре.

Между тем бедствия на Тоскану, в самом деле, надвинулись косяком, оборачиваясь то распрями с сиенцами за приграничные земли, то бунтами среди ремесленников и селян, измученных поборами продовольственных комиссаров, то случаями возвратной чумы, а затем — закрытием и распродажей мануфактур, непомерно растущими налогами и грабительскими займами ради укрепления армии. Совершенно неожиданно был с позором смещен и подвергся Высшему народному суду глава республики, гонфалоньер Каппони, уличенный в тайных сношениях с Папой Римским, неприми-

римым врагом свободы, как считало большинство флорентинцев.

Только накануне нового 1529 года³ моровая язва отступила, мало-помалу оживилась привозная торговля. Благодаря летним проливным дождям, в садах и на виноградниках вызрел такой щедрый урожай, которого не могли припомнить старожилы.

От обилия крупных налитых гроздей, случилось, рвались лозы и рушились опоры из далматского кедра. Повсеместно на сентябрьских плантациях источали аромат мускателло и чильеджоло⁴. Над их рядами носились настырные осы, не боясь ни щурок, ни людей. К полудню обжигающий сирокко завешивал дали песчаным маревом, и тогда зной становился адским. Всё живое пряталось в тени до самого повечерья. Но и темнота не приносила прохлады в прокаленные каменные дома. Только изредка — как дар свыше — налетали с Тирренского моря грозы. Чаше перед закатом небо затягивалось клубящимися тучами, порывы ветра час от часу обретали вихревую силу, и вулканически мощные удары грома, сопровождаемые сполохами, из края в край потрясали окрестную равнину, отдаваясь в ущельях протяжным гулом.

В считанные минуты над долиной Арно сгущался мрак, и — раскатистым залпом обрушивался ливень! Был он кипуч и яростен, но обманчиво скоротечен. Но и за эти полчаса мир как будто оживал. И вскоре на небе уже искрились звезды, подобно осколкам мрамора. Вдоль дорог, прикрытых ши-

³ По флорентийскому календарю новый год начинался с 25-го марта.

⁴ Древние сорта винограда.

роколистными платанами, кружил ветер, звонко сбивая на кремнистую почву скопившиеся капли. И странным образом в долине, богатой лаврами и оливами, ощущалась сырость морского песка, водорослей и солёная свежесть...

А на улицах Флоренции благоухали в эту пору олеандры и глицинии, свисающие с балкончиков и кованых оград. После полуночи раскрывались лилии и фиалки, их запахи мешались с тлетворными испарениями от выгребных ям и свалок, и воздух в городе становился столь насыщенным и густым, что перехватывало дыхание. Микеланджело просыпался от приступов кашля и, сгорбившись, подолгу сидел на своей деревянной кровати под матерчатым балдахинном. Влажную духоту переносил он всё мучительней: уже старик, за плечами — больше полвека. И хотя прежде не раз приходилось спать урывками, когда требовала работа, — однако в последнюю неделю бессонница тревожила, изводила, душу предчувствием неминуемой беды. Это наваждение преследовало его повсюду. Потому и на службе бывал раздражителен, ноги тяжелели, будто бы влачил кандалы, а в полуденную жару боль до того сжимала виски, что возникали мимолетные виденья...

В открытое настежь окно, несмотря на глухую ночь, врывается неумолкаемый, эхом разносимый в лабиринте улиц, площадей и переулков шум каменного города, ставшего за последний месяц небывало многолюдным из-за прибывших из предместий селян. Властно раскатывались громкие удары колокола Собора⁵, отсчитывающего каж-

⁵ Собор — название у горожан собора Санта Мария дель Фьори.

дый час, то близко, то поодаль раздавались команды служивых, грохот колес и перестук скачущих лошадей кавалерийских отрядов, иногда улавливались возбужденные разговоры ополченцев, патрулирующих квартал. Война с императорскими силами, сколько ни пытались избежать ее власти республики, подступила к самому порогу. Не в чуждальной дали, а уже на тосканской земле развязал бои принц Оранский, исполнитель папской воли, продвигая свои части напрямую к Флоренции. Расстояние невелико — всего четыре десятка миль...

Мелодичные переборы лютни, донесшиеся из дома напротив, побудили Микеланджело подойти к окну, хотя к дождю ломило колени, и первые шаги пришлось делать с усилием. Он смолodu к музыке относился без особого интереса, внимал ей так же, как гулу штормящего моря или вою пурги, или утреннему хору птиц, но сейчас искусная игра музыканта почему-то взволновала, заставила прислушаться.

Так самозабвенно и страстно мог играть, пожалуй, только юноша перед возлюбленной и, скорей всего, на первом свиданье. Струны, казалось, излучали свет невысказанной любви, то стихали до пиано, то громко трепетали, подчиняя всё вокруг своей власти. Редкие по красоте, как бы серебряные аккорды из глубины комнат выплескивались на улицу, таяли в воздухе легкими отголосками. Когда же они вдруг оборвались, раздался испуганно-восторженный возглас женщины, удивительно созвучный тембру лютни. Всего одной веселой фразой ответил ей самоуверенный музы-

кант, и еще энергичней вознеся до высочайших нот мотив, пробежали пальцы по туго натянутым, отзывчивым струнам...

II ОСЛИК, ВЕЗУЩИЙ СОЛНЦЕ

Микеланджело остро ощутил, сколь неприкаян и беззащитен в земной юдоли, — гнетущее это состояние порой леденило сердце с прошлого года, когда умер Буонаррото. «Черная смерть» тогда буквально выкашивала Флоренцию и, поняв, что заразился чумой, младший брат укрылся на вилле в Сеттиньяно. Микеланджело сразу приехал к нему и ухаживал до самой кончины. Как назло, в селенье не нашлось гробокопателей, и он сам вырыл могилу, а затем, обернув саваном, привез родного человека на кладбище и похоронил собственными руками.

Лишь на обратной дороге в город он осознал сполна, какой опасности подвергался, часами не отходя от умирающего. Вернувшись в дом на виа⁶ Гиббелина, первым делом выпроводил из него Антонио и служанку Катарину, снял одежду и сжег в камине, следом выкупался обжигающе горячей водой. Зная, что жить ему остается не более двух дней, в спешке написал завещание. Лишь милостью Неба можно объяснить то, что он не заболел...

И, подумав сейчас о брате, вспомнил он детство в том же Сеттиньяно, пыльном селенье каменотёсов, виллу отца подесты⁷, летние семейные ве-

⁶ Виа (итал.) — улица.

⁷ Подеста — глава исполнительной и судебной власти в средневековых городах Италии.

чера, которые скрашивал незрячий мастер игры на лютне, свою молодую матушку. Память о ней неизменно грела сердце, хотя потерял ее в пятилетнем возрасте. Такая уже далекая и ангельски чистая, безгрешная, мама представлялась точно бы в туманной дымке, на фоне осеннего леса. Воображение рисовало ее похожей на Мадонну в светлом одеянии: и овалом милого лица, и кроткой улыбкой, и особым женским обаянием, и мягкими руками с тонкими пальцами. Работая над «Пьетой»⁸, первым мрамором, принесшим славу, он даже не заметил, как любимые черты, наверное, бессознательно воплотились в образе Богородицы. Завзятые критики упрекали его в том, что изваянная Дева Мария выглядит слишком молодой, чуть ли не в сёстры годится Спасителю. На что он отвечал с присущей ему суровостью: образ Богоматери не подвержен времени, именно такой пребывает она на Земле. В те самые дни, когда создавал «Пьету», Микеланджело часто думал о матушке, которая усаживала на колени и с какой-то вникающей любовью смотрела на него своими темными иконными, печальными очами, и гладила по голове, и называла уменьшительно-ласковыми словами, от которых хотелось смеяться. И нередко, в минуты отдыха, когда от тяжелой и длительной работы валился с ног и деревенели ладони, он сознавал, что мать незримо оберегает и помогает ему, и ощущал особое тепло, укрепляющее душу благодатной силой, которое не испытал он больше ни от одной женщины в мире...

⁸ «Пьета» — статуя «Оплакивание Христа», находящаяся в римском соборе Св. Петра.

Навек остался в памяти и день ее похорон, который ознаменовался еще одним важным событием. Этот день потряс скорбью, которая, казалось, была разлита в воздухе, и особенно поразил тем, что вместе с ним плакало множество людей, близких и незнакомых, а братья испуганно жалась друг к другу и тоже плакали, и страшил острыми углами гроб, в котором покоилась ставшая как будто другой, — отчужденной и безмолвной — мама. На кладбище детей не взяли, их поручили кормилице. Но непоседливому Микеле, как звали его домашние, удалось-таки улизнуть из-под опеки строгой тетки.

Он прибежал, потерянный и безутешный, на окраину селенья, с которой широко открывалась долина. И взгляд его, и душа, чем дольше оглядывал небо, тем умиротворенней растворялись в окружающем. Местность кругом привычна, но глаза как будто не замечают ни гор, ни панорамы Флоренции с базиликами и старинными дворцами под черепичными кровлями. Взгляд его устремлен ввысь и заморожен неповторимым зрелищем! Вечернее солнце в этот час греет ласково и катится под уклон огромным апельсином. Облачная гряда, озаренная снизу, в чудесной многоцветной кайме! Изламываясь и расходясь, низко плывущие, одинокие тучки обретают всевозможные очертания: то марионеток в пестрых нарядах, то птиц с радужным опереньем, то подобны кустам пурпуровых олеандров. Сквозящее меж ними небо в таких же небывалых тонах. Кажется, кто-то, шалая, по своей прихоти смешивает в вышине краски, — может, это играют ангелы? Сердце замирает, — вот бы к ним.

Ведь теперь и мама на небе! Как жаль, что у людей не бывает крыл. И взлететь невозможно... Оттого на устах — горестная тихая молитва...

Между тем пространство долины потускнело и как будто сузилось. Солнце наполовину спряталось в туче наподобие длинной повозки. А чуть впереди — замаячило желтобокое облачко, напоминающая ослика дяди Симоне. И ему представилось, что по краю неба... ослик везёт солнце! Это внезапное открытие поразило, и он забылся, наблюдая, как повозка уезжает за горы...

Волнение охватило пламенем, — и ноги сами собой понесли к подворью. В сарае он нашел обломок мела и, зайдя с тыльной стороны, принялся рисовать на каменной стене. Это занятие так увлекло, что не уследил, как искрошился вконец мелок. Чуть не плача, растерянно сел на землю и уставился на свою неоконченную картину. Как ни старался он передать увиденное, однако колеса вышли неровные, а лик солнца слишком маленький и приплюснутый, — и очень огорчился, что получилось совсем не то, чего хотел. И, опять вспомнив о маме, которую больше никогда не увидит, в отчаянье заплакал...

Так сидел он до сумерек, пока на улице не слышались оживленные голоса. И вскоре за его спиной остановилась ватага сельских сорвиголов. «Смотрите, какое чудище намалевал!» — выкрикнул Луиджи, рослый, длиннорукий мальчишка, который частенько задирает его. — «Это ослик с телегой», — пояснил он, обернувшись назад. — «А что в повозке?» — «Солнце». — «И неправда! — возразила какая-то неказистая девчонка. — Сол-

нышко на небе, а ослик — на земле. И уши у него, как крылья мельницы». — «Я не успел...»

Слова его заглушил общий хохот. Кто-то ловко угодил голышом ему в плечо. Не стерпев обиды и боли, он вскочил и бесстрашно двинулся на толпу. «Да! Так было на небе! — твердил он запальчиво и непримиримо. — Я это видел! Клянусь Санта-Марией! Я видел...»

Луиджи только ожидал повода и кинулся навстречу. Дрались кулаками, по-мальчишески bestолково. Невероятно, но его обидчик впервые отступил, встретив яростный отпор сына подесты. Сорванцы, на глазах у которых побили жоака, настороженно примолкли. Не обращая внимания, как болезненно заплывает глаз, он повторял с вызывающим упрямством: «Я видел это! Ослик вез солнце! И буду рисовать его!»...

Безудержные стоны в соседнем доме, спугнув воспоминания, вернули Микеланджело в реальность, в эту душную лунную ночь, и он с досадливой усмешкой отметил, что любовники в объятьях друг друга, и музыка, разжигавшая страсть, сменилась уже соитием, к чему, собственно, они и стремились оба. Лютня умолкла — и музыки не стало. Она лишь эхом отдается в душах, печали или радуя, а впоследствии — бесследно исчезает. Но картины, фрески и скульптуры, получив талантливое воплощение, остаются на века. И сами по себе, красками и сюжетами, воздействуют на людей разных эпох и поколений...

Испытывая неловкость, как будто уличив самого себя в подглядыванье, он порывисто потя-

нулся к окну, захлопнул створку, — и вскрикнул от разящей боли в спине. Застыв на месте, первое, о чем подумал, — это заседание в Синьории, где ему нужно выступить. В любом состоянии сегодня он должен быть там! И в смятении, тая покаянную надежду, обратился к Спасителю, моля о даровании сил душе и плоти...

III ДРУЗЬЯ ЮНОСТИ

В начале дня к Микеланджело пожаловал Бужардини. Заботливый Антонио, как ни убеждал не беспокоить Учителя, ожидающего костоправа, всё же не смог остановить буйного маэстро, прослывшего в народе «Блаженным», который вихрем ворвался в спальню, стуча по каменному полу набойками «медвежьих лап», своих модных туфель на толстой подошве.

— Ты почему буянишь? — неприветливо встретил его Микеланджело, измученный саднящей болью и бессонницей. — Тебе же сказали, что я нездоров.

— А знаешь ли ты, что по твоей милости я лишился родительского дома? — парировал Джулиано с еще большим раздражением. — Я узнал, что ты как главный фортификатор рекомендовал Синьории снести постройки в Порта а Фаэнца. Это так?!

— Да! И не только в твоём предместье. Мы очистим всю территорию, прилегающую к крепостным стенам, чтобы лишить врагов укрытия. Что ты еще хотел узнать?

— Верно говорят, что на нас напали войска кесаря?
— Они уже взяли Кортону.

Буджардини, приземистый и толстенький, в синем берете, скошенном набок, из-под которого ежиком торчали густые пепельные волосы, поправил ворот модного темного джуббоне⁹ и интонацией избалованной знаменитости бросил:

— Скажи, пусть слуга принесет вина. Лучше красного... Мне нужно успокоиться...

Он без всякого приглашения, словно у себя дома, плюхнулся в белое кресло, на котором обычно сидел хозяин, покрытое лаком и напоминающее трон, — с высокой инкрустированной спинкой и гнутыми поручнями, украшенными головами сов. Переведя дыхание, Джулиано свел лохматые брови к переносице и погрузился в раздумья. У Микеланджело хватило выдержки не нагрубить и не выгнать этого бесшабашного, неунывающего и, по всему, пьяненького наглеца, а, в сущности, хорошего человека, с которым давно сблизился. Между тем гость прикрыл глаза и стал сонно клонить голову, но колокол Собора десятью раскатистыми ударами прогнал его дрему и заставил вскочить.

— Ты прав... Мне пить больше не следует, — шагая из угла в угол спальни, взволнованно бормотал Джулиано. — Я, старый пень, снова влип в историю. Ты видел мою натурщицу Симонетту? Впрочем, нет... Ты не мог ее видеть... Ей семнадцать лет... И, можешь представить, она понесла... Ужасная оплошность! Я не знаю, как поступить... Если об этом прознают в комиссии по нравственности, мне не избежать огромного штрафа.

⁹ Джуббоне — верхняя одежда типа куртки.

В эту минуту в комнату заглянул Антонио, чернокудрый, стройный, в светлой сорочке, чья юная красота сейчас была особенно заметна в сравнении с потрепанным видом пожилого гуляки-неудачника.

— Синьор Граначчи с лекарем! — объявил парень, выразительно посмотрев на гостя, чье присутствие было совершенно излишним. Буджардини искривил губы и спросил у самого хозяина:

— Уйти или остаться? Граначчи с юности мне такой же друг, как и тебе.

— Подождите с Франческо, пока буду занят. Скажи от моего имени Катарине, чтобы налила красного из новой бочки столько, сколько пожелаете.

Еще ранним утром их общему приятелю Граначчи передал Антонио записку, в которой Микеланджело просил привезти врачевателя. Верный и обязательный человек, Граначчи оседлал лошадь и помчался в квартал Санто-Спирито, где проживал Амаран. И хотя в город хирург приехал год назад, однако успел прослыть авторитетом. В отличие от иных целителей этот смуглый человек с большими выпуклыми глазами и короткими ручками окончил Салернскую школу, получив диплом костоправа, камнесечца, цирюльника и кровопускателя. Амаран, выслушав посетителя, заломил цену. Деваться было некуда, и Граначчи сопровождал его карету до самого дома заболевшего.

Антонио, быстро войдя, замер у двери, а похотливый на арапа костоправ, весь в черном — шляпе, плаще и узких штанах — вступил в комнату властным шагом, с поднятой головой, механически

помахивая, подобно марионеткам, пухлыми ручками. По лицу его расплылась улыбчивая гримаса. Взгляд, устремленный на кровать, где лежал больной, стал тверд и холоден и, несомненно, обладал магической силой. «Вот он, великий маэстро, — цепко всматриваясь в пациента, отмечал, точно делал запись в дневнике приема, врачеватель. — Роста выше среднего. Далеко не молод, но борода и волосы черны. Нос покривлен, вероятно, был сломан. Щеки слегка запавшие, на скулах натянута кожа, что свойственно людям мало говорящим. Шея и руки мускулисты, плечи развиты. А глаза — темно-желудевые, как чайный настой...»

Это разглядывание костоправа Микеланджело не понравилось, он насторожился, следя за каждым его движением. Чуть погодя в комнату втиснулся широкоплечий детина, с рыжей шевелюрой и кудрявыми бакенбардами, держа перед собой в двух руках металлический сундучок, который с трудом поднял и поставил на стол. Как выяснилось позже, вся работа его заключалась в снятии шляпы и одежды с хирурга и транспортировке этого тяжеленного ящика на замках.

Амаран, оставшись в бархатной куртке испанского покроя, неспешно достал из отомкнутой переносной аптечки несколько склянок. Потом — песочные часы и, перевернув полной колбой кверху, также поместил их на столе.

— Час моей работы стоит пять флоринов, — грудным низким голосом бесстрастно объявил он. — И ни скудо меньше, почтенный синьор!

- Это грабительская цена.
- Не могу быть дешевым.

— Послушайте, я должен отдать вам деньги за пять дней моей работы?

— Я не торгуюсь. Мне терять нечего. Итак?

— Вы меня вынуждаете... — проворчал Микеланджело.

Он редко обращался к лекарям, относился к ним с предвзятым недоверием. Неторопливость и мелочность костоправа начинали его сердить. Он с раздражением объявил, что должен быть нынче в Синьории и надеется на милости бога и знания лекаря, и согласен заплатить при условии, если будет толк.

Лечение началось с того, что хирург потребовал раздеться и лечь на пол. Микеланджело наотрез отказался. Амаран стал громогласно убеждать, что иного метода нет и, если ему не подчинятся, то покинет дом. Только благодаря помощи Антонио и сильного ассистента, Микеланджело, терпя пронизывающую боль, ничком распластался на циновке. Хирург, встав на колени, скользнул ладонью по коже вдоль позвоночника. Потом, с каждым разом глубже продавливая кончики пальцев, обнаружил болевое место в поясничном отделе (Микеланджело знал анатомию не хуже него). Прошептав заклятие на неведомом языке, Амаран смочил снадобьями и маслами спину пациента, долго массажировал разогретыми ладонями и вдруг сильным нажимом пальца, при котором послышался щелчок, чудодейственно усмирил боль. Она исподволь утихла, хотя ноющее ощущение некоторое время держалось в пояснице.

— Джованни, битую! — гнусаво потребовал Амаран.

Его ассистент с трудом вытащил из сундучка черный шар размером с большой апельсин и передал в руки костоправа. И Микеланджело, украдкой следивший за ними, почувствовал между лопаток тяжесть, будто припечатавшую тело к циновке.

— Так надо, — сквозь зубы проронил Амаран. — Когда станет горячо, скажите. Эта смола из каменоломни царя Соломона, с прослойками базальта, весьма целебна.

— Шар выточен идеально, я успел заметить. Откуда умелец?

— Этого знать необязательно, — отрезал Амаран и тут же поправился. — Не сочтите за грубость, маэстро Буонарроти. Я глубоко уважаю вас, но такова профессия... От предков мне передан также дар провиденья. И должен предупредить... — пучеглазый человечек сделал паузу и заговорил с акцентом, от волнения картавя. — Вам угрожает опасность! Против вас плетут заговор...

Микеланджело не поверил ни единому слову. «Нагнетает страх, чтобы больше содрать денег, — осуждающе подумал он. — Старая уловка шарлатанов. Таких лжепророков я повидал на своем веку...»

Но больную спину, действительно, точно прокалили солнечные лучи. Микеланджело без всякой помощи встал на ноги, оделся и щедро рассчитался с Амараном, который с чувством достоинства и челом победителя тут же удалился восвояси.

Друзья, увидев Микеланджело, вышедшего обычной, чуть прихрамывающей походкой, подняли бокалы, галдя, что выпили кварту за его исцеленье, и это, конечно, принесло свою пользу.

Микеланджело сел на привычное место во главе стола, но от вина отказался. Зато охотно отведал козьего сыра, жареной макрели и поданных прямо с печи Катариной соевых лепешек. Разговор подвыпивших приятелей был, по обыкновению, сумбурен и весел.

— Я рассказываю, как побывал у костоправа, — улыбнулся Граначчи, обращаясь к Микеланджело. — Вхожу в лабораторию и вижу на полке бутылочки с желтой жидкостью. Амаран берет их по очереди и отхлебывает, и что-то записывает на отдельных листках. По запаху я понял, что это — моча! А он, как ни в чем не бывало, исследовал стекляшки и сообщил, что окончательно поставил диагнозы пациентам. А до этого, оказывается, сверял оттенки цветов каждой пробы по своим палеткам. И поведал, что каждому за болеванию, помимо особого вкуса, соответствует определенный цвет...

— Фу, какая мерзость! — отмахнулся Буджардини и, переведя дыхание, мечтательно добавил. — Я, синьоры, эпикуреец и привержен наслаждениям и красоте. Всё вокруг так манит... Особенно молоденькие женщины... Но создавать их портреты — сущая каторга! Никогда не буду браться за их портреты, — сокрушенно признался Джулиано и всплеснул руками. — Они, черт возьми, никому не нравятся! Вместо благодарности слышу грубые упреки, что испоганил их пре-крас-ную внешность. О, боже правый! Наоборот, скрываю недостатки.

Граначчи, невысокий и худощавый, до почтенного возраста не утративший благородной и привлекательной внешности, опершись на спинку

стула, делал вид, что слушает, а сам, со смешливым выражением глаз, поглядывал на Микеланджело.

— Конечно, Франческо, ты и Микеле сделали гораздо больше меня, — хмельно потряс головой ловелас. — И добились всеобщего признания. Но я хочу справедливости...

— О чем ты говоришь, друг мой, — с усмешкой отозвался Микеланджело. — Почему винишь тех, кто недоволен? Не лучше ли признать самому, что никудышный портретист! Вспомни, как работал со иной. Я позировал ради того, чтобы ты получил от заказчика дукаты. Более двух часов просидел не шелохнувшись. Когда же ты отложил кисть и пригласил к своему полотну, воскликнув, что лучше изображения быть не может...

— Микеле, ты невыносимо придиричив, — с нахмуренным лицом прервал Буджардини, громко засопев носом. — Излишне строг, и всегда находишь у меня недостатки... Помню, как на заседании «Общества Горшка», когда к нам впервые пришел Леонардо, ты сцепился с мэтром лишь за то, что он живопись поставил выше ваяния.

— Вы чуть не подрались, — улыбнулся Граначчи. — Больше двадцати лет назад, а как помнится... Рустичи, Баччо д'Аньоло... Славно мы проводили время в пиршествах!

Напоминание о Леонардо да Винчи неприятно вздернуло хозяина.

— Твои недоделки, Джулиано, увидит каждый, кто не слеп! — выкрикнул Микеланджело, пристукнув ладонью по столу. — Когда я взглянул на свежее полотно, то потерял дар речи: левый

глаз оказался на виске, а рот разъехался до уха. Ты пренебрегаешь анатомией и законами пропорции, что равно шарлатанству. После того, как ваш любимый да Винчи намарал «Витрувианского человека», художники должны усвоить каноны пропорции. Мне ли тебе говорить об этом? Ты же признанный мастер. Твои хоругви непревзойденны. А портрет требует точности, осмысленности и особого терпения. Надо не собирать лицо по отдельным чертам, а писать одухотворенную личность, сколь ни была бы она мелка

— Но ты же собственноручно поправил свой портрет! Заказчик купил, не раздумывая ни минуты, — оправдывался Буджардини, по привычке размашисто жестикулируя. — Ты — велик. Нам с тобой не тягаться. Но и такие, как мы с Франческо, нужны миру, потому что делаем его ярче...

— Кстати, Микеле, — невзначай вспомнил Граначчи. — Среди монашек монастыря Санта Аполонния я видел твою племянницу. Девочка подросла, похорошела и передавала тебе слова благодарности.

— К сожаленью, навещаю ее изредка. Вы знаете, я принял на себя заботы о детях брата Буонаррото. Отца с его сыном Леонардо на время поселил в Пизе, пока не закончится война. Не братьям, а племяннику передам наследство... Послушай, Франческо, как работается над алтарным щитом?

— Среди заказанных бенедиктинцами фигур самый сложный образ Аполлонии. Вчерне написал Иеронима и Магдалину, Иоанн на стадии завершения. А вот Аполлония... Ты предложил прием

контрапоста, использованный в Сикстинской капелле, когда фигура в активном движении, а руки и ноги разнонаправлены. Не могу добиться гармоничности положения её правой руки и поворота влево склоненной головы. А недавно подумалось, что слишком много зеленого цвета в изображении всех образов, хотя он связующий... Ты помогал мне с выбором композиции, знаешь ее. Нужен свежий глаз! Когда будешь там, зайди, пожалуйста. Мне необходим совет!

— Ая, дорогие мои, давно не брал в руки ни карандаша, ни резца. Занимаюсь строительством стен. Наблюдаю, как замешивают навоз с глиной и паклей для кирпичей да браню каменщиков! — с досадой произнес Микеланджело. — А теперь, когда имперцы приближаются к городу, о творчестве вообще придется позабыть.

Помолчав, о чем-то напряженно думая, он поднялся из-за стола. Следом встали гости, разомлевшие в долгом хмельном застолье. У них, сдружившихся с отроческих лет, не было принято прощаться. Просто опять разошлись по своим домам, как делали это давным-давно, учась в мастерской великого Гирландайо.

IV МАЛАТЕСТА

Экстренное заседание обоих Советов — девяти и десяти — приоров и магистратов у гонфалоньера Кардуччи только началось, когда Микеланджело в сопровождении Антонио подъехал к Синьории. Передав слуге мула, он двинулся к палаццо

Веккьо¹⁰. Бурливая толпа теснилась на площади перед дворцом. Как обычно, на пути встречались депутаты и члены многочисленных контрольных и чрезвычайных комиссий. Судя по одежде пурпурового и малинового цветов, преимущественно здесь были нобили и представители высших цеховых гильдий. Раздражала жара, громкие споры на повышенных тонах, сопровождаемые нарочито язвительным хохотом. Разило от этих бездельников горячей козлиной кожей сандалий и туфель, винным перегаром, кислым отвратительным потом. Раскрасневшиеся лица и настырно-беззащитные взгляды пополанов, узнававших его, были унылы и глуповаты. Иногда слышались приветствия, и Микеланджело ответно кивал, не поворачиваясь и не замедляя шага. С уходом Амарана он всё тревожней вспоминал его злоеющие слова, отчего росла подозрительность. А вдруг, на самом деле, папские шпионы хотят расправиться с ним?

Миновав внутренний дворик, украшенный арками и колоннами, он поднялся на второй этаж, к апартаментам гонфалоньера. Непривычным было нахождение в коридоре, кроме дворцовых охранников, чужих воинов. Нелепыми выглядели их шлемы, палаши на поясах и нагрудные панцири в сугубо гражданском месте.

Совещание проходило в Зале лилий, — насыщенная синева расписанных стен и потолка окрасила обширное пространство и лица присутствующих в бледно-мертвенный цвет. Войдя, Микеланджело обнаружил, что гонфалоньер пригласил множе-

¹⁰ Палаццо Веккьо — дворец, где находилось правительство Флорентийской республики.

ство важных персон, имеющих отношение к финансам и обороне. Помимо чиновников Синьории, расположившихся за овальным столом в палисандровой отделке, восседали военачальники. Среди них сразу попался на глаза Малатеста Бальони, старший кондотьер¹¹ республики, сдавший без боя папским войскам свою родную Перуджу, сеньором¹² которой являлся. Впрочем, род Бальони известен предательством. Микеланджело с первой встречи проникся к этому чужаку неприязнью, в словах кондотьера сквозило лицемерие, готовность легко переменить свое мнение. «Бальони сидит, как цезарь, среди главных лиц республики! — обзлился Микеланджело, пробираясь к свободному креслу. — Почему бы не сдать ему и Флоренцию, сговорившись с имперцами? Экий чурбан! Борода точно крашена хной, веки в глубоких глазницах, щёки скошены, а губы поджаты, как у фавна...»

Перед членами Советов и гонфалоньером отчитывался казначей республики, чью фамилию Микеланджело не помнил. Высокий и тощий бородач, принаряженный в зелёный табар¹³, с заброшенными на плечи висячими боковыми частями, он говорил размеренно и бесстрастно, акцентируя речь на цифрах.

— Благодаря проверкам налоговых книг с 1512 года, установлены огромные недоимки Медичи. Их имущество взято в управление городской казной, на всех членов их семьи возложен сверхсметный налог в восемьдесят тысяч дукат

¹¹ Кондотьер — наемный военачальник.

¹² Сеньор — титул владельца города или некой территории.

¹³ Табар — легкий плащ свободного покроя.

тов. Этих мер было недостаточно для пополнения казны. Двадцать наиболее богатых паллесков¹⁴ были принуждены внести в казну в виде займа 1500 дукатов. Также в пользу государственной казны были изъяты все средства богоугодных заведений от продажи десятой части их владений, на что было получено разрешение понтифика еще до нашей революции. Позже богоугодные заведения подписались на принудительный заем в двадцать тысяч дукатов. Эти и другие действия всей финансовой магистратуры позволили в прошлом году собрать в казну республики триста тысяч флоринов. Но и столь большой суммы, как многим кажется, вовсе не достаточно для покрытия возрастающих расходов...

— На что использованы денежные средства? — нарочно задал вопрос Кардуччи, чтобы все присутствующие знали об этом из первых уст. — Мне известно, что особая комиссия ежемесячно делает ревизии. Да и мои советники ведут контроль.

— Как и в предыдущем году, половина финансов пошла на производственные нужды, а именно: транспортные, торговые и общественные расходы, уборку улиц, обустройство новых кладбищ, где покоятся умершие от чумы, на оплату чиновников магистратур и комиссий. А вторая половина — на содержание наемной армии и Коньякской Лиги, в которой мы состояли. Это опустошало...

— Давайте обсуждать нынешнее финансовое состояние республики, — перебил Кардуччи. — Лиги больше не существует.

¹⁴ Паллески — наиболее богатая часть флорентийской буржуазии.

— Согласно постановлению Пратики¹⁵ и Синьории, продано имущество цехов и братств с условием, что они будут выкуплены при наступлении лучших времен. Реквизированы вклады частных лиц и учреждений в церквях. С публичного торга проданы дома и земельные участки покинувших республику изменников родины, то есть рубелли. В доход казны поступили и деньги от продажи дорогих камней с тиары понтифика Льва X, которая хранилась в Соборе. Многие предместья и села в провинции отказываются платить налоги, да и продукты поставляют с перебоями. Комиссары вынуждены брать в заложники граждан, наиболее враждебно настроенных против республики. Хлеб, зерно, оливки и масло отбираются принудительно с выдачей бумаг по дальнейшему возмещению ущерба денежными средствами. Основная податная тяжесть лежит на одной Флоренции. Капиталы многих банков выведены из города выехавшими владельцами.

— Ничего не остается, как грабить горожан, — вздохнул представительный бородач Томмазо Содерини, находившийся справа от Микеланджело. — Богатые люди стали нищими, лишившись имущества. Цеха остановлены и проданы. Откуда брать доходы? Провинциалы откровенно ополчились против города! Был ли смысл делать переворот? Свобода? Да! Достойная жизнь и порядок? Нет. В итоге, мы в полной изоляции.

И точно бы гонфалоньер его услышал, заговорил как раз об этом, внушительно подняв голос:

¹⁵ Пратика — общенародное собрание, имеющее верховную власть.

— Все союзники говорили одно, а делают совершенно другое! Французский король Франциск I уверял нашего посла, что он — надежный друг. Его посланник Тарбес, помните, отговаривал нас посылать делегатов к императору, подтверждая заверения своего монарха. Но помощь не последовала! Наоборот, правитель Франции заключил мир с кесарем¹⁶, который отказал нам в договоре о ненападении.

— Франциск женится на родственнице кесаря Элеоноре, — вполголоса пояснил сидевший по левую руку от Микеланджело статный и моложавый Баттиста дела Палла, консультант короля по закупкам произведений искусства. — Мне известно, что король собирался передать сюда деньги с адмиралом Шабо.

— Француза можно понять, — усмехнулся Содерини. — Ему самому нужны деньги, чтобы заплатить Карлу два миллиона флоринов. Таков выкуп за двух сыновей, находящихся в плену.

Между тем Кардуччи говорил всё резче и воинственней:

— Венецианский резидент Карло Капелло уверял, что его государство неразрывно связано с Флоренцией, и вступится в случае войны. Прислал ли дож Гритти обещанную сумму?

— От него поступило семь тысяч флоринов. Этого хватит на отряд пехотинцев в двести человек.

— А каков наш золотой запас? — осведомился Рафаэлло Джиролами, выполнявший поручения военного советника. — Сможем ли мы увеличить численность наемных войск?

¹⁶ Кесарь — так называли Карла V, провозгласившего себя императором Священной Римской империи.

— К сожаленью, синьор комиссар, золотой запас государства ничтожен. Казна пуста...

В зале послышался гул возмущения, и Микеланджело уловил, как Малатеста скрытно улыбнулся. Гонфалоньер позволил финансисту сесть. Наморщив высокий лоб, прислушался к резким и тревожным репликам, доносившимся с разных сторон. Отсутствие денег всех крайне разочаровало и озадачило.

— Уважаемые синьоры! У нас нет иного выхода, как пополнить казну займами, новыми налогами и добровольными взносами граждан! — безразлично подытожил Кардуччи, обликом похожий на библейского старца. — Мы должны отстаивать свободу с оружием в руках! Для отчизны пожертвуем всем, даже жизнью. Флорентинцы не способны сдаваться! Дело идет вовсе не о расширении или сохранении нашего владычества, не об уплате какой-то контрибуции или перемирия. Нет! Мы решаем вопрос о том, стоит ли возвратиться в то рабское состояние, в котором пребывали последние пятнадцать лет, или же, наоборот, отстаивать вольную жизнь. В феврале прошлого года Пратика объявила королем Флоренции Иисуса Христа! Он — наш Спаситель! Почти все гонфалоны¹⁷ приняли решение скорее положить жизнь в борьбе с Папой, нежели пожертвовать свободой. И это время настало! — Кардуччи остановил речь, чтобы привлечь внимание разговаривающих. — Нашу победу обеспечит только сильная армия. Постановление о всеобщей воинской повинности граждан

¹⁷ Гонфалон — административная единица, небольшой район города.

с восемнадцати до сорока лет, полагаю, решит проблему увеличения ее численности. К нам прибыл Стефано Колонна со своими бойцами. Народному ополчению необходим командующий, способный лично вести в атаку малоопытных воинов. Приветствую вас, капитан, от имени республики!

Сидевший рядом с Малатестой чернобородый синьор в дорогом бархатном камзоле пружинисто встал, тряхнув длинными темными волосами. От собравшихся не ускользнуло хитроватое выражение его бегающих светлых глаз.

Раздались одобрительные возгласы, Микеланджело с недоумением обратился к сидящему напротив Марио Орсини, командиру крепостных бомбардиров.

— Чем он прославился?

— Знаю только, что его прислал, а верней, выдворил французский король за неподобающее поведение. Излишнюю приверженность Вакху и оргиям. Хотя...

Микеланджело вновь заметил фальшивую улыбочку Бальони, его высокомерно-рассеянный взгляд. Колонна вкратце сообщил о неотложных планах обучения ополченцев, о необходимости провести перепись личного состава и настоятельно попросил, чтобы милиционеры, как и все флорентийские воины, носили на рукавах отличительный знак — прямой белый крест на красном поле.

Неожиданно через зал просеменил начальник дворцовой охраны, бряцая висевшими на поясе ножнами с палашом, и подал Кардуччи бумажный пакет. Тот с нетерпением вскрыл его и, пробежав глазами по строчкам, потемнел лицом.

— Синьоры! Гонец доставил от комиссара Альбицци срочное донесение. Из-за малочисленности наших сил не удалось отстоять Ареццо. Более того, жители города сами примкнули к принцу Оранскому!

— Измена! — срыву выкрикнул Данте Кательоне, один из самых яростных и суровых араббиятов.¹⁸ — Альбицци нужно арестовать за то, что не выполнил приказа Синьории. Бежал, как подлый трус!

— Но крепость пока держится, отражает натиск имперцев, — добавил Кардуччи. — Ее гарнизон героически сражается.

— Франческо Кардуччи! — громче закричал Кательоне. — Не пора ли выслушать Малатесту Бальони, который прибыл оттуда со своим отрядом. Пусть кондотьер объяснит, почему не присоединился к трем тысячам пехотинцев нашей армии, а дал возможность врагу атаковать города и беспрепятственно двигаться к Флоренции!

По залу прокатилась волна недовольства, магистраты требовали от Малатесты объяснений.

— Капитан, я предоставляю вам возможность выступить. Нам полезно узнать, почему вы отступили, хотя имели под командованием несколько эскадронов, — доброжелательным тоном произнес Кардуччи, жестом вверх поднятой руки устанавливая в зале тишину.

Малатеста, не выказывая ни малейшего смущения, встал и окинул присутствующих надменным взглядом человека, которому всё нипочем. Сцепив

¹⁸ Араббияты — радикалы, непримиримые противники Медичи и борцы за свободу.

ладони, он уронил руки вниз и застыл в такой независимо-твердой позе.

— Уважаемые синьоры флорентинцы! Хочу напомнить, что служебный контракт кондотьера заключил со мной высокочтимый французский король. И служу формально ему! Подпись в документе я поручил поставить кавалеру Бенедетто Сперелло. Он же вез мне причитающееся вознаграждение, но был остановлен папским отрядом, который изъясил деньги. Таким образом, за службу я не получил пока ни дуката!

Малатеста говорил красноречиво, то и дело меняя интонации, со странным носовым призвуком, отчего окончания некоторых слов были не совсем разборчивы. Микеланджело догадался, что все его доводы и словесные уловки были заранее продуманы до мелочей. В логике ему не откажешь. Видя, что слушатели проникаются доверием, перуджинец держался раскрепощенно и продолжал с еще большей уверенностью:

— Начинать сражение с войсками императора я не стал и при обороне своего города, и посоветовал не делать этого комиссару Антонио дельи Альбицци, когда мы встретились. Почему? По многим причинам. Во-первых, у нас слаба конница и нет полевой артиллерии. Во-вторых, по данным верных людей и лазутчиков, против наших трех с половиной тысяч воинов принц Оранский имеет: три тысячи итальянской и две тысячи испанской пехоты, две с половиной тысячи немецких ландскнехтов, не считая трехсот конных латников и пятисот кавалеристов. Как бы героически ни сражались наши отряды, они

полегли бы бесполезно, ничем не сослужив Флоренции. Я прошу позволения изложить план моих дальнейших действий! Прежде всего, плохо проведены фортификационные работы, крепостные стены доступны для штурма вражеской пехоты и разлетятся в прах от ударов ядер...

Микеланджело, не помня себя от гнева, вскочил:

— Предатель Перуджи и трус! Ты смеешь обвинять меня?!

Малатеста, не ожидавший таких оскорбительных слов, умолк, лихорадочно думая, как поступить.

В многолюдном Зале лилий, ярко озаренном солнцем, оцепенела мертвая тишина...

V СЛУГИ ПАПЫ

Следующей ночью, когда на город налетел северный шквалистый ветер и зарядил по-осеннему нудный дождь, распугав на улицах прохожих, колокольчик дома, где обитал Амаран, настойчиво зазвенел и не смолкал до тех пор, пока из-за двери не послышался сонный голос ассистента лекаря.

— Синьор Амаран почивает. Велено не будить.

— Это его друг. Быстро открывай!

Тотчас тяжелая дубовая дверь на кованых петлях с протяжным скрипом отворилась. И в темный дом, пропахший травами, снадобьями и какими-то средствами, известными только самому хозяину, торопливой походкой вошел мужчина в мокром армейском плаще и короткополой шля-

пе, скрывающий лицо под полумаской. Обращаясь к слуге, в почтении стоящему перед ним, потребовал:

— Зажги свечу! И разбуди хирурга. А сам готовься в дорогу. Поедешь в Болонью. Лошадь заседлана и стоит под присмотром охранников.

Важный посетитель, оставшись один в освещенной передней, сдернул полумаску и снял отяжелевший, обвисший плащ. Неприятно запахло козьим жиром (из него, наверняка, была сделана свеча), да и вся атмосфера в этом сыром помещении, служившем и приемной, и кухней, действовала угнетающе. Осмотревшись, он присел на широкую лавку, и устало закрыл глаза. Задремал почти мгновенно и, пожалуй, еще бы долго спал, если бы не это громкое восклицание рядом:

— Малатеста! Вы уже здесь?!

Амаран в полосатом колпаке, в светлой шелковой ночной рубашке, из-под которой выступали тонкие кривые ноги, стоял перед очнувшимся гостем с выпученными глазами, нервно двигая нижней губой.

— Да, прибыл третьего дня, — ответил и встал Малатеста. — Обстоятельства сложились как нельзя лучше. Смог привести две тысячи флорентинцев с собой, хотя Альбицци сначала упирался. Мы отошли, а принц Оранский взял Кортону и Ареццо.

— А папа Климент знает об этом?

— На всякий случай пошлем гонца. У меня есть к нему отдельный вопрос.

Амаран, ежась, уселся в кресло, покрытое медвежьей шкурой. Приказал Джованни подать еду. Тот принес на широком серебряном блюде зелень,

порезанные помидоры, вяленую телятину и двух запеченных фазанов. Проворно выставил на стол высокий муранский графин с белым вином. Появление гонфалоньера озадачило хирурга, он сосредоточенно обдумывал, как действовать теперь, когда замысел, предложенный понтифику им самим, личным шпионом, и поддержанный Баччо Валори, флорентийским нобилем, стал реальностью.

— Я хочу знать обо всем подробно, — сдвинув свой бокал с бокалом гостя, властно сказал хирург.

— Вы присутствовали на тайной встрече с Папой в Болонье. Я исполнил данное слово. Впрочем, окончательно не уверен в правильности моего решения... — Малатеста подтянул рукава камзола и жадно принялся за фазана, изредка поглядывая на хозяина. Несколько насытившись, выпил еще бокал мускателло и продолжил:

— Когда принц прибыл на Тибр, он прислал ко мне человека, чтобы обсудили условия сдачи Перуджи. Они были выгодны. И следующей ночью договор был мной подписан. Ровно десять дней назад я сбросил бремя обороны своего города и прикнюк к комиссару Альбицци. Разумеется, кое-что о моих переговорах я сообщал Синьории, требуя дополнительно денег и угрожая за отказ разрывом отношений.

— Ловко, — усмехнулся Амаран. — Вы умеете дурчить людей.

— Это было нетрудно. Я доказал флорентийским невеждам, что начинать большую войну вдалеке от их столицы крайне рискованно. Поэтому сдал Перуджу, а свои войска и тосканскую пехоту, объединив, отвел к Флоренции.

— А какова, собственно, ваша выгода? Мне известно, что после будущего разгрома флорентийских сил, понтифик вернет вам родное гнездо.

— Он заверил, что никто из моих родственников-врагов, претендующих на наследство, ни Браччо, ни Сфорца Бальони не войдут в Перуджу. Кроме этого, мне отойдут несколько имений. Он возвратил деньги, конфискованные у Сперелло. Но вчера мне выгодно было прикинуться ограбленным.

— Когда принц Оранский сможет взять Флоренцию?

Малатеста недоуменно посмотрел на этого внешне отталкивающего и, вместе с тем, на редкость мудрого человечка, заподозрив подвох. Но Амаран был совершенно серьезен.

— Думаю, мы преувеличили мощь посланных сюда императорских войск.

— Кесарю важней ситуация у Вены, которую штурмуют турки. Он не может бросить брата в беде. Да и лютеранство распространяется с невиданной скоростью по всей Европе.

— Флоренция, как я и сказал на заседании, укреплена скверно, — не поддержав собеседника, к прежней теме вернулся кондотьер. — Но сломить флорентийский дух пополанов и прочих сторонников Кардуччи будет непросто. Они готовы драться насмерть. Да и бойцов набралось у них прилично, способных выдерживать осаду.

— Именно об этом я и предупреждал тогда папу Климента. Однако он надеется на покаяние республиканцев. Увы! Взятие Флоренции не станет прогулкой для принца Оранского. Важно, что

мы с вами думаем одинаково. И будем здесь, в логове недругов, помогать понтифику.

— Если даст бог, — двусмысленно бросил Малатеста. — Или с благословения его Помазанника!

— Скорей, если за нас вступится Сатана! Ведь неизбежно придется принимать на себя грехи, — с неким злорадством возразил хирург. — Для победы хороши любые средства!

В это время мелко задрожал, зашелся звоном колокольчик. Вероятно, кто-то пришел за помощью. Но хозяин отмахнулся, встретив взгляд вошедшего Джованни, и приказал не открывать.

Малатеста воспользовался подходящим моментом и дрогнувшим голосом сообщил:

— Мне хуже. Во рту язвы. Переносица просела и становится невнятной речь. На спине гноятся высыпания... В Болонье вы прописали мне серу. Она не помогла.

Амаран преобразился, как только заговорили о болезни. Вновь похолодели глаза и появилась гримаса. Он вскочил по-мальчишески и вышагнул из передней, не проронив ни слова. Малатеста ожидал его стоя, нервно почесываясь спиной о косяк двери. Он сам не ведал, где и как заразился. Скорей всего, это были две неаполитанки или француженка, или крашенная басмой стрега¹⁹ из Барселоны, — его постоянные любовницы на протяжении прошлого года. Были замужние женщины и проститутки помимо этих, и теперь он раскаивался, что был ненасытен и грешен в прелюбодеяниях, отчего, наверно, так жестоко и наказан богом.

¹⁹ Стрега — гадалка, колдунья.

Хирург появился нескоро вместе со слугой, несущим в одной руке стеклянную банку, а в другой — чугунную ступу, от которой исходил густой лекарственный запах. Амаран приказал кондотьеру раздеться и, осмотрев его, принялся делать запись в журнале. А его угрюмый пациент, зашнуровав камзол, в это время наблюдал, как Джованни из ступы перекладывает в банку черную тягучую массу.

Наконец Амаран поднялся и принял важный вид.

— Я подтверждаю, что у вас Французская или — по-другому — Кастильская болезнь²⁰. А раньше ее называли «Эспаньолский змий». Она коварна, непредсказуема в проявлениях и плохо излечима. Посему будьте осмотрительней с женщинами... Для вас, капитан Малатеста, я приготовил мазь на основе скипидара, серы, свиного сала, уксуса, змеиного яда и ртути. На ночь, только на ночь смазывайте места, где волдыри, иначе — пустулы. Ртуть смертельно опасна.

— Чрезвычайно благодарен... — начал Малатеста, но лекарь подавил его своим крикливым и раздраженным голосом.

— С вас двадцать флоринов, и не скудо меньше! Ингредиенты весьма дороги.

«Единомышленник», сославшись на отсутствие денег, пообещал рассчитаться в следующий раз. Амаран наверняка не ожидал отсрочки. Пациенты всегда платили ему после приема. И поведение перуджинца, знающего об этом, лекаря взбесило.

²⁰ Французская болезнь — сифилис.

— Джованни не сможет покинуть город! — заявил он, когда Малатеста собрался было писать понтифику послание. — Без пропуска охрана не откроет ворота. Более того, его могут схватить и записать в ополченцы. А как тогда прикажете мне работать?

Малатеста ответно вспыхнул.

— Черт возьми! Дело срочное... На заседании в Синьории я схлестнулся с фортификатором Буонарроти. Я раскритиковал его, а он обвинил меня в трусости и намерении предать Флоренцию.

— Он не лишен интуиции, — насмешливо вставил хирург.

— Сто чертей, этот старикан следит за мной! Когда я вчера был на холме Сан-Миньято, то приказал перед крепостной стеной выставить пушки. Разумеется, чтобы они не смогли причинить вреда воинам принца. Понадеялся, что никто не заметит. Однако мне донесли, что скульптор вечером был у Кардуччи и поднял шум на всю Синьорию, снова обвиняя меня в помыслах сдать город.

Амаран поморщился и промолчал. Гость, не услышав ответа и поняв это как вызов, сдвинул шпагу, висевшую на поясе, и сурово заявил:

— Я буду просить у Папы разрешения избавиться от него. Он крайне опасен. Мои помощники всё сделают умело и не подведут.

— Убить Микеланджело? Вы серьезно? Я против этого! Да и Папа не разрешит, поскольку дружит с Микеланджело смолоду. И, как помню, ставит его выше всех скульпторов.

— А если на меня падет подозрение, благодаря этому полоумному инженеру? — загорячился Малатеста. — Тогда что?!

— Есть решение. Я лечил Буонарроти, хотя он скупердяй. И закинул удочку, что ему угрожают злоумышленники. Он промолчал. Однако чаще слова воздействуют на тех, кто вначале будто бы не воспринял смысла сказанного, не придавал ему значения. Люди — существа слабые и мнительные. И неосознанный страх будет расти, пока не достигнет огромных размеров! Вот тогда и решится скульптор на любой поступок, чтобы сберечь жизнь. Думаю, необходимо подослать надежного человека, чтобы намекнул, всего лишь намекнул ему о готовящемся покушении...

Малатеста вскинул голову и снисходительно сказал, оглянувшись у двери:

— Прислушаюсь к совету. Или сделаю так, как посчитаю нужным!

VI ФОРТИФИКАТОР

И следующей ночью лил дождь, и порывисто шумели смоковница и лимонное дерево в кромешной тьме внутреннего дворика, и вновь Микеланджело сидел в одиночку у зажженной свечи, читая Данте, с трудом разбирая любимые строки, многие из которых помнил наизусть.

Однако в этот час решимость наполнила его душу — и четко понял, почему в последний месяц ощущал себя таким потерянным. Во-первых, заблуждался в том, что правительство обретет способность управлять республикой. Ненависть араббиаатов к папе Клименту VII была столь яростна, что избежать войны не удалось, ибо Синьория

отвергла его условия мира. В случае, если враг овладеет городом, Микеланджело как члена военного Совета ожидает казнь. Двухлетняя эйфория, упоение свободой иссякли — и крах республики закономерен. У нее нет будущего из-за партийных распрей, бесконечных заседаний Советов и десятков нужных и ненужных комиссий, жестоких действий чрезвычайных комиссаров и судов. Между тем мануфактуры, банки и ремесленные цеха закрываются, народ нищает и озлобляется против правительства. Большие проблемы с продовольствием, поскольку крестьянам не дают торговать свободно. И, в конце концов, невыносимо стало неуважительное отношение к нему, требовательному фортификатору, со стороны чиновников и болтливых радикалов, которых он буквально заставлял работать! Потому не один раз слышал за спиной ненавистные слова: «Папский шпион». Помнили, оказывается, в городе, что выполнял он заказы четырех Римских Пап!

Недоверие к нему подтвердилось летом, когда дважды просил у Синьории разрешения выехать во Францию, но получал отказы. «Нет такого лидера, чей авторитет мог бы сплотить людей и поднять на борьбу с захватчиками, — размышлял он, отстраняясь от книги и глядя в темноту окна. — Ланчи²¹ наемных кондотьеров не надежны. Они переметнутся на сторону чужеземцев, если пообещают им больше дукатов. Защиты ждать неоткуда. Флоренция одинока!»

И он, престарелый художник, также в безлюдной тишине.

²¹ Ланча — отряд.

Эта леденящая мысль ранила до боли, и он точно бы со стороны увидел себя (что случилось иногда), и трезво оценил, и ужаснулся тому, насколько сдал: неопрятен и сутул, выглядит опустошенным, изрядно одряхлевшим, на краю гибели...

Поединок с вечностью он, земной человек, начал проигрывать.

Два года назад, когда восстановилась народная власть, Микеланджело поддержал переустройство жизни, начертанное еще Савонаролой, кумиром юности. Однако при этом тяготило двойственное чувство: удовлетворение от происходящего и страх перед наказанием за работу в капелле Медичи²². Он жил безоглядно, не задумываясь о будущем. И, пребывая постоянно в тщете, как будто лишился потребности быть независимым.

А между тем сердце, как и раньше, влекло в капеллу. Не забывалось, что в Риме ждут незавершенные изваяния гробницы папы Юлия. Безрассудные порывы побуждали его ночью на пару с помощником пробираться в сакристию через потаенную дверь, при свечах осматривать интерьер помещения, обдумывать детали ризницы, обтесывать заготовки. Он был и архитектором ее, и создателем гробниц, и ваятелем. И замыслил творение, в котором решил запечатлеть само Время и соприкоснуться с Вечностью, — небывалое на свете, грандиозное сооружение...

Однако ныне Микеланджело — защитник Флоренции, её главный фортификатор. Вот и сегодня,

²² Сакристия или капелла Медичи — пристройка к церкви Сан-Лоренцо, служащая усыпальницей, ризницей, гробницей представителей рода Медичи.

едва встанет солнце и зашумит улица, он верхом на муле поскачет в Синьорию. Потом — по замкнутому кругу — к десятникам, поставляющим строительные материалы, к артелям каменщиков и кирпичников, большей частью переселенцам из пригородов. Далее — к новым бастионам, где наращивают верхние ярусы и обустривают контрфорсы для пушек. Лишь вечером, еле живой, вернется он сюда, на улицу Гиббеллина...

А что получает ответно за это служение? Для чего живет? Ведь всё, что сотворено им прежде и поставлено ценителями в ряд шедевров, — даже «Давид», искалеченный в день восстания черни! — потеряло для земляков значение и ценность. Как съязвил однажды какой-то пополан: «Давид не пойдет воевать. Какая от него польза?» И всё привычней называют его не «маэстро»²³, а «мессер», что пристало инженерам, докторам, адвокатам и чиновникам. А вчера при полном зале публично прозвучало гнусное оскорбление Малатесты! И хотя многие вступились за фортификатора, осадив кондотьера, и тот принес извинения, гнев обжигал Микеланджело при одном воспоминании об этом бездарном и подлом вояке.

Дни срывались, как с веток листочки, а он бесплодно тратил их. Для чего же тогда дано всеведенье творца? Не сам ли гасит он в душе благодатный Божий огонь?

Велико его прегрешенье пред Создателем, безмерно велико! И оправдания этому — нет...

Давно уже не брал Микеланджело в свои руки молоток и резец, не изготавливал моделей, не сто-

²³ Обращение к художникам и музыкантам в средние века.

ял с палитрой у картона или полотна. Жилистые руки утрачивали силу и проворность, глаза не так четко различали линии и оттенки цветов, одолевала усталость. Видимо, не зря смолоду пренебрегал зеркалами. Они искажали первозданность и красоту всего земного. Не потому ли набросок автопортрета он изорвал в клочья...

Жизнь походила на медленное саморазрушение.

«То, чего опасался, случилось. Армия кесаря движется к городу. Не успею, не успею завершить работу в капелле... Буду болтаться на виселице... — бессвязно рвались мысли, доводя до иступления. — Республику я принял сердцем, хотя Папа звал в Рим. Остался здесь, чтобы окончить работу в сакристии. Разве можно было подумать, что вражда между Флоренцией и понтификом²⁴ зайдет так далеко? По делам наказание Господне! — с ожесточением заключил Микеланджело. — Нищета и озлобленье людей хуже, чем при Медичи. Да, удалось немало сделать по укреплению города. Но мой план, представленный Большому Совету, не выполним, ввиду нехватки средств!»

Не в силах сдержать волнения Микеланджело вышел на террасу, открытую во двор. Дождь прошел, и редующие тучи озарились луной, поднявшейся в зенит. Ощущалась прохлада, и дышалось легче. Вдоль забора, увитого плющом, подёргивал предутренний сквозняк, остужая лицо и лоб. Ветви лимонного дерева, матово лоснящиеся под лунными лучами, казались отлитыми из бронзы. Клином выступали из мрака край двора и коно-

²⁴ Понтифик — Папа Римский.

вязь. Оба мула стояли, понутив ушастые головы. И вдруг шарахнулись, испугавшись то ли крысы в яслях, то ли раскатистого лая собак на соседней улице.

Где-то в глубине квартала, погромыхивая подковами, проследовал кавалерийский отряд. Передвижение войск в городе стало постоянным. П слышались мужские голоса. Вероятно, проходил патруль милиции или ватага припозднившихся гуляк. Неожиданно в кованые ворота сильно ударили.

— Буонарроти, открывай! Мы пришли к тебе! — выпалил кто-то фальцетом.

— Прекрати, Донато! Ты слишком много выпил, — басом пристыдил его приятель. — Я встречал скульптора на бастионах. Он служит республике.

Микеланджело, прислушиваясь, спустился на землю. Он несколько не испугался и был готов ко всему. Антонио спал, но позвать его на помощь можно в любую минуту. К тому же, ворота и каменный забор были надежны, а кавалерийская пика хранилась у стены.

— Мы знаем, что у тебя есть мастерская, которую подарил Папа, враг Флоренции!

— Ха... хапает су... сумасшедшие деньги! — заикаясь, подхватил возмущенным голоском еще один полуночник. — У него зе... землевладение близ Прато. Флорины уж точно водятся!

— Мы, пополаны, свергли тиранов! — бахвалился хмельной Донато. — А скульптор выстроил для Медичи усыпальницу. Кто он тогда?! Папский прихвостень. Его надо арестовать!

— Прекрати! — вновь громыхнул бас. — Шагай вперед, пьянчуга! А то тебя самого вздёрнут...

Бранясь, дружки отвалили в сторону пьянца²⁵ Сан-Лоренцо. Микеланджело, унимая негодование, долго кружил по дворику. Запоздало и горестно понял, что даже среди пополанов у него немало недругов...

VII ПРИЗРАК ДА ВИНЧИ

Он ждал рассвет на своем ложе, достойном спартанца. Мысли перебрасывались с одного на другое. Думалось о покинувших город друзьях, сторонниках прежнего гонфалоньера Каппони, о том, что флорентийское общество расколото и в нем устоялся дух взаимной неприязни, а коммуны не принесли благополучия.

Сколь много зависит от того, в чьих руках власть! Ему отлично помнилось, как покинул Рим и вернулся на родину. Половину из последних десяти лет он провёл в отъезде, в Карраре и Пьетрасанте, добывая мрамор для гробницы Юлия. Неожиданно папа Лев, оторвав от труда, заказал проект фасада церкви Сан-Лоренцо, и когда тот был подготовлен, передумал и велел строить сакристию. Затем уже папа Климент досаждал требованиями возвести библиотеку, а в усыпальнице предусмотреть место для самого себя.

И ещё немало лет Микеланджело продолжал тащить бремя забот, связанных с доставкой мрамора, постройкой ризницы и возведением купола.

²⁵ Пьянца (итал.) — площадь.

Всё чаще приходилось нанимать помощников, иногда — ваять самому. Воспользовавшись безвластьем Ватикана, когда кесарь, захватив Рим, пленил папу Климента, флорентинцы восстановили народную власть. Именно с того времени началась для Микеланджело череда невзгод и непонимания людей. Вот и прошедшим вечером он рассказал Кардуччи о том, как Малатеста управляет артиллерией. Перуджинец умышленно вредит, создавая слабые, уязвимые места в обороне города, чтобы ими воспользовались враги. Этот напыщенный лжец при первой возможности предаст Флоренцию! Однако ни гонфалоньера, ни советников взволнованная речь не убедила. «Вы устали, дорогой Буонарроти. И несете ахинею! Занимайтесь инженерными работами, а кондотьер будет командовать армией», — грубо ответил Кардуччи и посоветовал денька два отдохнуть. Иуде никто не дает укорота! Вопреки разуму, военный Совет благодушно доверяет Малатесте и рекомендует на должность командующего республиканскими войсками. Это было чудовищно! Микеланджело не мог унять растущего отчаянья — точно в душу вбили гвоздь.

Но сейчас, прозрев, он уже не с тревогой, а с холодным расчетом стал обдумывать ситуацию, возникшую после требования выдворить Малатесту из города. Конечно, кондотьеру донесут, и он, мстительный и коварный человек, не останется в долгу. И нужно быть предельно осмотрительным, и реже появляться на ночных улицах. Впрочем, его приглашали в Прато, чтобы завершить инженерные работы по укреплению бастиона, способного

противостоять врагу. На несколько дней он уедет, и не будет видеться с Малатестой.

Откуда-то с прибрежной полосы донеслась первая переключка петухов. Сквозь полусон слышались шаги у входной двери, и он проворчал: «Антонио! Ты куда?!» Ответа не последовало. «Кто это?» — насторожился он и с горящей свечкой поспешил к входной двери, но оказался почему-то в своей мастерской близ пьядца Сан-Лоренцо. И в мерклом освещении вдруг узнал перед собой... Леонардо! Он неожиданности замер и с недоумением спросил: «Как ты здесь оказался, да Винчи? Ты же умер на чужбине». — «Теперь я во Флоренции. А к тебе заглянул на минуту. Прослышал, что многими делами занимаешься». — «Зачем? — спросил он, уловив в голосе живописца иронию. — С тобой мы никогда не были близки». — «Это так. Помню, непримиримо спорили среди художников, а как-то на площади я толковал приятелям Данте, а ты проходил мимо. С чистым сердцем попросил, чтобы рассудил нас. Но в ответ услышал филиппику: «Уж лучше помолчи. Познакомь меня со своим гипсовым миланским конем, которого не можешь отлить в бронзе для герцога Сфорца! За всё хвататься и ничего не доводишь до конца!»... А теперь, Микеланджело, эти слова я обращаю к тебе! За многие годы ты ничего не сделал путного. Набрал заказов и ни один из них не завершил». — «Мне их навязали Папы!» — «За тобой — последнее слово». — «Я давно бы закончил гробницу Юлия, если бы меня не отрывали от работы!» — «Прежде ты был одержим творчеством. А теперь транжиришь целые годы. Уезжай из этого сумасброд-

ного и неблагодарного города, хотя он обоим нам родной. Тебя везде знают и примут с почетом! Во Франции или Венеции, у турецкого султана». — «Я нужен Республике и останусь здесь, чтобы укрепить бастионы...» — «Ты, вероятно, рожден упрямым. Иногда это заводит в сторону. Надо признать, ты всегда шел непроторенным и собственным независимым путем, но — следом за мной. Или — за моей тенью, как хочешь... В тот год, когда ты родился, я уже написал «Благовещение». — «Хороша картина, нечего сказать, — язвительно заметил он. — Левая рука длиннее правой». — «Не длиннее, а ближе... Да, ты следовал за мной. Я жил без всяких границ: играл на лире, собирая сотни поклонников, и недурно пел, сполна познал живопись, открыл сфумато²⁶, который теперь доступен каждому художнику. Но более всего интересовало, влекло меня устройство мира, разгадка мироздания — творения Господнего. Я постиг науки, архитектуру, сделал немало изобретений, Живопись была лишь сокровенной частью моей души! А ты — другой. Помнишь, как нас столкнул гонфалоньер Пьеро Содерини, заказав обоим картоны для Большого Совета во дворце Веккьо. Я быстро набросал сюжет, подсказанный мне Макиавелли, — битву наших войск с миланцами и отправился на Арно строить плотину. А ты долго и упорно совершенствовал свой картон «Битва при Кашине», достойный высшей похвалы! Ты всецело отдавался работе, которую делал в эту минуту, которой был словно околдован, и трудился с остервенением, до изнеможения

²⁶ Сфумато — в живописи прием плавных тональных переходов, размытость контуров, словно в дымке.

и лишения сил...» — «Погоди. Ты утверждал, что живопись выше ваяния, что никакая скульптура не сравнится с полотном или фреской великого художника. Причем здесь ... моя работа до лишения сил? Или ты, Леонардо, изменил свое мнение?» — «И нет, и да. Тогда нами руководило тщеславие, страсть первенствовать в искусстве. Каждый считал себя выше другого. А теперь нет смысла делить славу. Она живет сама по себе. К старикам не приходит, а, наоборот, в преклонные годы она покидает человека. Потому что с каждым годом вспоминают всё меньше, пока имя его после ухода в мир иной вовсе не сотрется временем». — «Мне уже сейчас одиноко и холодно, — неожиданно вырвалось у него. — «Да и меня после пиров, увеселений и утех, признаюсь, частенько изводило это самое страшное на свете чувство, когда нет тепла любимого человека, когда жизнь пуста и бессмысленна, и темна, точно в могиле... Но я должен ухотить. Микеланджело, я заклинаю: спаси себя! Перебейся во Францию, как это сделал я, поселившись во дворце короля. И твой друг Рустичи тоже там. Вспомни Данте: «Италия, раба, скорбей очаг, в великой буре судно без кормила, — не госпожа народов, а кабак!» — «Тебе не удастся соблазнить меня. Я привержен Флоренции и своему народу, и несущу перед ним ответственность». — «Твои слова, Микеланджело, подобны отречению от данного Господом великого дара. Прежде ты был готов всем жертвовать ради творчества, а теперь на краю глубокой пропасти...»

Микеланджело проснулся с колотящимся сердцем. Леонардо так живо оставался еще перед гла-

зами, что не сразу сообразил, был ли это сон или наяву разговаривал с призраком. Волнение постепенно улеглось, и во всем теле он ощутил приятно-расслабляющее тепло, — значит, сон был крепок и полезен.

VIII СЕНТЯБРЬСКОЕ УТРО

Внезапно, словно в молодости, он почувствовал прилив сил и нестерпимое желание сейчас же идти в капеллу. Громко позвал Антонио, спавшего в соседней комнате, но тот не откликнулся. Тогда сам вошел к нему, но парня на месте не оказалось. На постели черной чалмой лежал недавно приблудившийся кот. Испугавшись хозяина, шkodник спрыгнул на пол — в узких глазах мелькнул бесовский огонёк. Отсутствие слуги вывело Микеланджело из терпения. Сгоряча он сбросил подушку на пол и, неловким движением задув в руке свечу, отшвырнул ее в сторону. Чертыхаясь, поспешил к выходу, откуда тянуло свежестью. Наружная дверь была распахнута. На верхней ступени лестницы — спиной к нему — сидел... тот, кого поминал крепким словом.

— Ты здесь?! Почему не спишь?

— Под ливнем искупался, а теперь дом проветриваю, — встав на ноги, улыбнулся Антонио, неутомимый, ладный, с крепким торсом. От его волос пахло дождевой водой. Да и настроение, по всему, было у парня отменное.

— Собирайся. У нас есть два часа, чтобы поработать в сакристии. Возьми побольше свечей и влаж-

ное полотенце, чтобы я вытер лицо. Ты наточил резцы?

— Да, ходил в мастерскую Джузеппе.

— Пора самому научиться.

Миновав площадь Собора и узкую безлюдную улочку, они добрались до капеллы Медичи и через дверь со стороны площади, которой прежде пользовались строители, вошли в нее. В темном каменном пространстве стоял тот волнующий тонкий запах, который исходит от мраморной пыли и чем-то напоминает холодок льда. Каждый шаг гулко отдавался в тишине. Антонио зажег свечи и установил в канделябре. Из мрака мягко выступили, вытаяли обе гробницы, с еще пустыми нишами, мозаичный пол, чаша купола. Микеланджело приблизился к грубо отесанному изваянию «Венеры», закрепленному в станке. Минуту пристально оглядывал ее, затем торопливо, словно кто-то толкал в спину, сбросил плащ и надел фартук. И, привычным жестом застегнув ременный налобник, с особой, изобретенной им подставкой, подождал, пока Антонио зажег и вставил в нее высокую свечу.

Почти не глядя — точно руки у него были зрячими — Микеланджело взял инструменты и, точным движением приставив шпунт к выступу, скрывающему нижнюю часть ноги, несколько раз ударил по нему молотком, пока не скололась увесистая плашка. Примерившись, сдвинул острие шпунта чуть в сторону и снова стал бить молотком, круша мраморную глыбу. Так обошел он одним уровнем вокруг блока и взял свою любимую кованую троянку, которой работал много лет. На ее конце были расширенные зубья, позволяющие снимать

поверхностный слой материала. Белые крошки и пыль, отлетая, падали на пол, на фартук, припудривая волосы, бороду и щеки, но Микеланджело не замечал этого, как никогда не помнил себя, когда увлекала работа. Затем схватил широкий скампель²⁷, но после второго удара, обнаружив, что он тупой, швырнул им в Антонио и, обругав, остолбенел на минуту с опущенными руками. И вновь стал шпунтом срубать куски мрамора, придавая блоку всё большую схожесть с женской фигурой. Антонио, как замороженный, наблюдал в колеблющемся облачке, излучаемом всеми свечами, за каждым движением Учителя, стараясь проникнуться тайной его мастерства и навсегда запомнить этот час рядом с ним...

Утром, когда открылась базилика и началась в ней служба, Микеланджело, спрятав лицо под капюшоном плаща, проник в притвор через внутреннюю дверь и вышел на площадь через главные ворота. Он был настолько обессилен ночным бдением и трудом, что покачивался при ходьбе. После длительного напряжения в глазах мерцали огненные горошины. В полумраке работалось гораздо сложнее, чем днем. Впрочем, он не помнил, когда в последний раз, не скрываясь, ваял в ризнице. Узнай сейчас радикалы, что Буонарроти продолжает выполнять заказ папы Климента VII, то не сносить ему головы!

Из дому Микеланджело направился вместе с Антонио к старинной башне и воротам Сан-Николо, чтобы проверить, как там ведется укрепление бастиона. Отпустив помощника, он поставил мула

²⁷ Скампель — резец.

у коновязи ополченцев и вышел за городские ворота, вдыхая мягкий бархатистый аромат цветущих олеандров. Утро еще удерживало ночную влагу, и повсюду сверкала роса на деревьях, на высоких травах и цветах полянок, приютившихся на склонах дальних холмов. В небе над долиной стаяй сошлись жемчужно-белые облака, выделяющиеся на фоне синевы. Микеланджело впервые за долгое время испытывал сейчас приятное бодрящее чувство, сродни счастью, любовался сентябрьским утром, синееющим и золотящимся вокруг...

— Мессер Буонарроти, прошу выслушать меня, — позади раздался вкрадчивый мужской голос. И, обернувшись, он обнаружил совсем рядом средних лет военного с узкой бородкой, в плаще поверх доспехов. Голову покрывал армейский бордовый берет. Несомненно, это был не флорентинец. Микеланджело на миг растерялся, уловив в прищуренном взгляде незнакомца настороженность.

— Я ваш друг. Мне стало известно, что вас в городе подстерегает убийца. Этот человек способен на всё!.. Мессер! Начинается война. Вам лучше покинуть Флоренцию, — тем же доверительным тоном произнес незнакомец и, кивнув на прощанье, поспешно прошел через городские ворота и пропал из вида.

Микеланджело обьял ужас. Он перестал понимать, что говорили ему командир отряда, обороняющего бастион, и руководитель строителей, и какой-то поставщик бревен. Он не мог сообразить, где сейчас находится и как отсюда добраться домой. И только при появлении сержанта Корси-

ни, который охранял его при поездках по тосканским крепостям и приехал, чтобы узнать, куда они отправятся завтра, к Микеланджело вернулось самообладание и способность мыслить. Он отозвал конника в сторону, заговорил прерывистым шепотом:

— Ринальдо, на меня готовится покушение... Это передал один человек. Будьте со мной, пока доедем до дома!

— Кто он? Вас, наверно, пугают.

— Нет! Нет! — бешеной скороговоркой бормотал Микеланджело. — Вы многого не знаете! Мне нужно покинуть город! Без промедления... И прошу, как друга, очень прошу не бросать меня и сопроводить до Феррары. А прежде нужно еще достать двух лошадей. Поторопитесь! И не говорите об этом никому...

— Но ведь... как это объяснить Синьории, — с тревогой глядя на скульптора, которого била дрожь, проговорил Корсини. — Вы решили покинуть город в самый трудный для всех час. Не сочтут ли ваш поступок за предательство?

БАБА ФЕНЯ

Спит еще маленький провинциальный город, погруженный в прозрачные пласты тишины и редкий окраинный глухой собачий лай. Лишь кое-где косыми поясками уже тянутся к небу печные дымки, да пронзительно вскрикивает голубоватый снег под чьими-то ранними шагами.

СТАРЫЙ ДОМ

С пяти часов утра зимой начиналась жизнь в нашем доме. Отец растапливал печь, ходил за водой к ближайшей колонке, потом кормил собаку — кавказскую овчарку Бульку — и кошку Мурку. Расчищал дорожки от снега во дворе и на улице перед домом. Мама готовила еду на завтрак и на обед. Наспех поев, оба уходили на работу, и ждать их теперь надо было только к темному вечеру. Бабу Феню не будили так рано. Жалели. Она просыпалась около семи утра, «причипуривалась», по ее выражению, молилась коротко у себя в комнате, а потом



Татьяна
ТРЕТЬЯКОВА-
СУХАНОВА

Проза



начинала уборку в доме. Больше всего она любила мыть полы и ухаживать за комнатными цветами. Работая, всегда пела. Длинные листья фикуса до блеска натирала маслом, а с геранью и китайской розой разговаривала как с детьми — со всякими прибаутками.

Потом просыпались мы, дети. Быстро умывались и одевались. Перед завтраком баба Феня подводила нас к иконе Христа, что висела в углу ее комнаты, и говорила: «Нельзя быть нехристями. Скажите Богу: “Господи, помилуй, спаси и сохрани”. А потом — “Слава Богу”. Перекреститесь и поклонитесь. Да не торопитесь!»

Я ее часто спрашивала: «А от чего Боженька должен нас спасти и сохранить?» Она всегда отвечала одно и то же: «От худого». Если среди дня мне самой случалось зайти в бабушкину комнату, то почему-то мимо иконы я всегда проходила на цыпочках.

Баба Феня обожала читать. Время для этого улучала она больше по вечерам. Единственным источником света в ее комнате была лампочка под шелковым абажуром на потолке. Помню, как бабушка взбиралась на табуретку, поднимала книжку вверх, поднося ее к самому абажуру. В такой неудобной позе могла она находиться часами, полностью погружившись в тот мир, о котором читала.

ЗИМНИЙ ДЕНЬ

Зимы в моем детстве стояли суровые. Спрессованный морозом, воздух трудно цедился сквозь слипшиеся ноздри, а потом легкими белыми комочками пара выходил наружу, цеплялся за губы.

Мы — я и сестра Оля, на четыре года старше меня — радостно катались на санях с высокой крутой горки, с удовольствием купались в белой пене сугробов, тайком лакомились леденцами-сосульками, катали снежных баб. И только когда на варежках нарастали льдинки, а валенки становились тяжелыми от налипшего на них снега, мы возвращались с улицы домой.

Баба Феня стаскивала с нас влажную одежду, докрасна растирала старым шерстяным шарфом холодные руки и ноги. Кормила наваристым и густым борщом, в котором, как и полагается, могла стоймя стоять ложка, и самыми вкусными на свете котлетами. Потом мы пили чай солнечного цвета из веселых разноцветных чашек, на дне которых хороводом кружились пчелки-чаинки. Пили чай с мёдом, а чаще — с бабушкиным любимым крыжовниковым вареньем.

У бабы Фени была своя особенная чашка. Передняя поверхность ее была выпуклой и изображала черное личико забавного мальчика с крупными губами, круглыми озорными глазами и растрепанными густыми кудрявыми волосами, напоминающими туго заверченные столярные стружки. У этой чашки было имя: Арапчик. Она была подарена молоденькой Фене ее будущим мужем — Павлом. Нам брать в руки Арапчика категорически запрещалось. «Не дай Бог, разобьете», — говорила бабушка.

Сидя после обеда у опрятной беленой печи, мы слушали рассказы из бабиной Фениной жизни. Не было у нее других слушателей, все тайны доверялись нам. Особо запомнилась мне одна из таких историй.

РАССКАЗ БАБЫ ФЕНИ

— Родители во мне и моем старшем брате Феде души не чаяли. Уж какой певуньей я была! Хожу по травушке-муравушке, а сама все пою, пою... Отец подойдет, поцелует в лоб, вытащит из кармана брюк то конфетку, то ленту для волос, и скажет: «Птичка ты моя певчая».

А в шестнадцать лет, совсем юной девочкой, я вышла замуж. Павел приехал на станцию Тихорецкую из Ставрополя и работал на железной дороге под началом моего отца, путейского мастера. Влюбилась я в него с первого взгляда и навсегда. И Павел меня полюбил. И расцвела наша любовь пышным весенним цветом, как пион в саду.

Отец Павла хвалил: «Руки золотые, а голова умная, — добрый парень». Но когда через месяц после первой нашей встречи Павел пришел свататься, отец благословения на брак не дал. Отговаривал жениха: «Ты сам подумай — ну что за жена тебе Фенечка? Ребенок малый: поет да в куклы играет». «Со мной дорастет», — уверял его Павел...

Я плакала, просила отца. Ничто не помогало. И тогда я сказала: «Не отдашь замуж — под поезд брошусь». Так дело и решилось: вышла я замуж за своего любимого. И родила ему четырех сыновей.

— И нашего папу! — вставляем мы.

— И вашего папу, он был третьеньким. После свадьбы мы жили в Ставрополе, вот в этом самом доме, купленном для нас, молодых, отцом Павла. Дружно жили.

В Первую мировую войну был взят Павел в ополчение, направлен в школу прапорщиков,

а как закончил ее — на фронт. Потом — революция, а за революцией — Гражданская война... Оказался Павел в Добровольческой армии. На Кубани заболел тифом, неделю пролежал в бреду. Когда очнулся, выяснилось, что белые отступили, и местность ту уже взяли красные. Павла много раз допрашивали, а потом мобилизовали в Красную армию: потребовались, видно, его технические умения...

Неспешно говорит баба Феня. Нет-нет да и задумается, упрется взглядом в окно, словно видит в нем что-то особенное, важное. И глуховатым голосом продолжает.

— Трудно мне жилось с детишками. Спасибо свекру — помогал чем мог: то молока пришлет, то муки. Ну и выручали огород и сад при доме. Работали мы не покладая рук. Выжили.

Наконец вернулся Павел с Гражданской войны. Счастье-то какое — только жить-не тужить! Но что-то с ним после возвращения было не так. Наверно, слишком много повидал он всего за военные годы, трудно ему было вернуться к обычной жизни в родном городе. Томился он, все хотел переехать куда-то и заниматься радиотехникой. Верил, что в этом будет его новое призвание. Я переживала, ревновала, но поделаться ничего не смогла: собрал он однажды вещи и уехал в Ленинград.

Осталась я вдовой при живом муже. Письма, впрочем, Павел иногда писал, и детям помогал. Взяли его в Ленинграде лаборантом в какой-то серьезный научный институт, работой он был доволен. Но я все верила: в один день вернется он к нам... А потом письма стали приходиться все реже и реже.

В последнем письме муж без всяких объяснений просил срочно дать развод. Что тут поделывать — насильно мил не будешь... Развод я дала. Но свет для меня померк. От сильных переживаний слегла я в постель, долго была в бреду. В то время приснился мне странный и страшный сон.

— Какой, какой сон? — снова встречаем мы от нетерпения в бабушкин рассказ.

— Сидела днем вся семья за столом, пили чай, — продолжает она, — и вдруг все посерело в комнате. Смотрю на мужа, а вижу другое лицо, да и не лицо вовсе: кривое, глазки узкие, черные, как угли в печи. Так и горят, так и жгут сердце. А из-под стола торчат вроде и ноги, но с копытами. Тут-то уразумела я, что не муж это, а сам «черненький» — черт, значит. Вскочила я, схватила кочергу, стоящую в углу, и со всей силы ударила его по лбу. Черта ударила — чтобы оставил он Павла... Посветлело в комнате. Вижу, стоит передо мной Павел, бледный, изможденный. А на лбу у него рана, из которой стекает кровь, капли падают на пол и начинают гореть. Он смотрит на меня, что-то шепчет, а я слов не разберу... Хочу подбежать к нему, обнять, но не могу — словно мороз всю сковал меня.

Проснулась в горячке, едва очапалась. Сколько уж лет прошло, а я все думаю: «Где он, мой Павлуша, что сказать мне тогда хотел? И свидимся ли мы с ним еще на этом свете?»

— Бабушка, бабушка, а откуда взялся черт? А тебе было страшно?

— А как вы думаете?.. Знамение, видно, то было — к худому для Павла.

Мы тербим ее, хотим побольше узнать о черте. Но теперь она молчит и только тяжело вздыхает.

О судьбе Павла Феня больше не вышла замуж, хотя сватали ее не раз. А она все ждала, что к ней вернется Павел. Перед смертью вспоминала только его и своего брата Федю.

Так и не узнала она, что худое действительно случилось с Павлом. Весной 1938 го года он был арестован в Ленинграде, где работал в Научно-исследовательском институте прикладной физики, и через два месяца расстрелян как враг народа.

Только мы, внуки, узнаем об этой трагедии — уже спустя много лет после реабилитации деда. Узнаем и место, где покоится его прах — общая могила на Левашовском кладбище под Петербургом. И сдается мне, что Павел предчувствовал свой арест и порвал связи с семьей для того, чтобы спасти родных от репрессий. Так и получилось.

Детей Феня вырастила и воспитала. Все четверо ее сыновей защищали Родину на фронтах Великой Отечественной войны.

ЦВЕТЫ НА ОКОННОМ СТЕКЛЕ

Детская память спонтанно выхватывает из жизни самые яркие эпизоды — или просто искорки впечатлений, которые не смываются никакими бурными и холодными реками уходящего времени. Эти детские воспоминания, как подземные родники, пробиваются к нам, чтобы напоить нас живой водой.

Вижу как сейчас бабу Феню, стоящую на табурете, с близко поднесенной книгой к тусклой лам-

почке на потолке под оранжевым, с кистями, абажуром; вижу уголки ее губ, слегкадвигающиеся при чтении, вижу ее влажные подслеповатые глаза и бусинки слез на ее щеках. Я боюсь спугнуть ее и время — потому что знаю, что она читает про любовь и вспоминает своего Павла, моего дедушку.

А еще я вижу, как на оконном стекле нашего старого дома, остуженном крепчающим январским морозом и подсвеченным синевой низкого неба, расцветают все новые и новые искрящиеся, как звезды, ослепительно белые цветы.

НОВОЕ ИМЯ

ПАРУС МОЙ

Ищешь ритмы, нахмутив брови,
Неурядица каждая злит.
...А простор, развернувшийся вровень
С малахитовой далью, слит.

И в душе моей жаркий трепет, —
эта рифма уже стара,
Чтоб в простейшем великолепье
Мир вставал бы из-под пера.

Парусами взметнулись строки
В просветленные небеса.
...Лермонтова парус одинокий,
Грина — Алые паруса.
И Багрицкого парус веселый
Наклоняется надо мной.

Я взываю задорный голос.
Над закатною тишиной.
Небосвод прозрачный, весенний
Опоясан рдяной каймой.

Напрягай, напрягай вдохновенье,
Поэтический
парус мой!



**Алексей
СЕДУТИН**

Поэзия



РОССИИ!

Русь! Россия! Ты, словно песня,
Где до боли слова близки.
Нас с тобою связали тесно
Неразрывные узелки.

Ты меня вспоила, вырастила,
Ты дала мне и радость, и грусть,
Незабвенная мать Россия,
Молодая красавица Русь!

СТАВРОПОЛЬЕ

Малиновыми розами рассветы
Горят крылато у краев земли,
Шумит над степью астраханский ветер,
Склоняя долу травы-ковыли.

Солончики, присыпанные солью,
Сухая степь в голубоватой мгле —
Передо мной родное Ставрополье,
Мне края нет милее на земле!

Плывет, как облако, медвяный запах,
И соком наливаются земля,
И вновь зерно набухло в этих недрах,
И вновь цветут в моем краю сады.

Пылит дорога на степном раздолье,
Ручей играет струйками в камнях.
Лежит мое родное Ставрополье,
Колосьями упругими звеня.

Лежат поля в могучем изобилье
Разбившихся оранжевых хлебов.
Тебя, мой край, мы с детства полюбили
И сохраним навек свою любовь.

И врежутся отчетливо нам в память
Кавказские широкие края:
поля, пригорки, солнечное пламя —
Немеркнущая родина моя!

Под знойным солнцем дремлет край богатый,
А солнце огнезарное слепит.
Знакомо, близко,

дорого и свято
Здесь все для нас,
родившихся в степи.

СТОИТ ЗИМА....

Стоит зима, охапки снега бросив.
В тугом снегу увязли деревца,
И тронула сады сквозная просесть,
На солнце переливно замерцав.

Вчера лишь только бушевала вьюга,
Поземкой снежной за полночь пыля.
А нынче снег лучится по округе,
Сверкают синей белизной поля.

Подтаяли снега на солнцепеке,
Лазурь небес бездонна и ясна.
Капель поет, звеня по водостоку.
Уже близка желанная весна.

ЗЕМЛЯ

Мы на фронт уходили под грохот орудий.
Мы не брали землицы с собой в узелки.
Потому, что земля нам родная повсюду,
Потому, что поля нам повсюду близки.

Мы в тебя зарывались под вражьем обстрелом,
Полыхали в ночах голубые поля.
Мы на бой выходили, чтоб ты не старела,
Молодая вовеки земля.

Мы мужали в сраженьях, мы мчались в атаки,
Мы стремились вперед и вперед,
Чтоб тебя не топтали немецкие танки,
Чтоб сиял над тобой небосвод.

К долгожданной победе мы вышли с боями.
Зашумели весной наливные поля.
Мы приникли сухими от жажды губами,
Мы целуем тебя, дорогая земля!

ЗАБЫТЫЙ КОНТИНГЕНТ

Повесть¹

БЕЛОВ

Прапорщик Белов не сдержал крика, обрушиваясь с дувала на голову духа, который низко наклонился над телом молоденького десантника и широким кинжалом вспарывал ему живот. Белов свалился на плечи духа, и они вместе рухнули на труп солдата. Афганец дико завизжал, пытаясь выскользнуть из-под прапорщика, но тот притиснул его к себе и ударил ножом в висок. Дух сразу обмяк мешком и, изогнувшись, затих. Прапорщик поднялся с земли, вытер руки и нож о длинную рубаху убитого и склонился над солдатом. Тот лежал в пыли под стеной дувала, раскинув руки и ноги. Изуродованное лицо с выколотыми глазами слепо уткнулось в вечернее небо. Куртка была залита кровью, сквозь распоротую ткань и кожу живота, пузырясь,

¹ Журнальный вариант



Сергей
СКРИПАЛЬ

Проза



вылезало кровавое месиво. Брюки были разодраны, и пах ужаснул прапорщика своей зияющей черно-красной наготой. Белов пошарил в карманах у солдата, вынул небольшую пачку каких-то бумаг, из «лифчика» взял гранату и полный магазин к автомату. После этого встал во весь рост, затолкал взятое в свой «лифчик» и осмотрелся. Он стоял в небольшом дворике, окруженном высоким дувалом, по которому несколько минут назад бежал, захваченный погоней за бандой, уходящей из кишлака. К дувалу примыкал глинобитный дом с черными дырами небольших окон и дверью. Слева от себя прапорщик увидел какой-то сарай и, уже отворачиваясь от него, краем глаза уловил за разохшейся дверью сарая движение. Он бросился на землю грудью, в падении переворачиваясь на правое плечо и дергая курок автомата. Над головой веером прожужжали пули и врезались в стену дувала, но Белов действовал немного быстрее. Из сарая послышался крик. Прапорщик лежал на земле и прислушивался к отдалявшемуся шуму боя, который угасал где-то на краю кишлака. Он полежал еще немного, потом резко вскочил на ноги и бросился в сторону от сектора обстрела, открывавшегося из дверей сарая. Все было тихо. Белов скользнул ближе к сараю, подскочил к изрешеченной пулями двери и пинком распахнул ее. На земляном полу он увидел скрюченное тело бородатого мужика-афганца с бритой головой, рядом с ним валялся АКМ с прикладом, разукрашенным бисером. Прапорщик подобрал автомат, из которого в него только что стреляли, забросил его за спину и вышел во двор. В доме на развалившейся лежанке он нашел ветхое одеяло, взял

его и пошел к солдату. Хотел прикрыть его одеялом, но во двор уже вбежал медбрат из их батальона, рыжий хохол Мишка Шандра. Белов отдал ему бумаги солдата, набросил одеяло на пробитую голову духа и вышел со двора.

Он направлялся по пыльной улице. Вокруг все дышало недавним боем. Редкие чахлые деревца сгорели и, дымясь, разваливались пеплом. В широко арыке лежало несколько трупов. Среди разноцветных лохмотьев прапорщик разглядел тело в камуфляже и хотел было вытащить, освободить из мусульманского плена убитого солдата, но навстречу катил БТР, на броне которого сидели наши ребята. Белов махнул рукой, машина остановилась. Солдаты спрыгнули на землю и принялись вытаскивать трупы. Прапорщик показал им дом, где находился Шандра с убитым солдатом, и зашагал дальше.

Вдруг совсем рядом хлестнула автоматная очередь. Из узкого переулка выскочил лейтенант Клюев и крикнул прапорщику: «Двое! Уходят к «зеленке»! Я — по дувалам, ты — сюда», — и, махнув рукой в переулочек, из которого только что выскочил, ловко вскарабкался на стену и побежал по ней. Прапорщик кинулся в переулок, на ходу поправляя за плечом чужой автомат и жалея, что не бросил его в БТР. Он слышал над собой стрельбу, потом чей-то крик. Белов быстро перебежал от одной стены дувалов к другой, потом понял, что наступила тишина. Он остановился, быстро восстановил дыхание и настороженно стал прислушиваться к этой тишине. За спиной, с той стороны, откуда он заскочил в переулок,

дышали как загнанные солдаты с БТРа. Прапорщик, не оглядываясь, подал им знак остановиться, а сам крадучись пошел к следующему повороту дувала. Он крепко сжимал в руках свой АКСУ, устремив ствол вперед к поджидавшей опасности и смерти. Поворот против всех ожиданий был очень крутой, что абсолютно не соответствовало канонам восточной архитектуры, в которой все углы были сглажены и очертания строений напоминали замедленную киносъемку. Прапорщик резко выдвинул автомат за поворот и почувствовал, что кто-то схватил руками ствол и потянул его на себя. Прежде чем что-то увидеть, Белов нажал на курок, автомат коротко рявкнул, и только потом он вышагнул из-за угла. И замер, когда увидел, что по стене сползает женская фигура, закутанная в серо-зеленую паранджу. Прапорщик кинулся к ней, опустился на колени, приподнял женскую голову и откинул с лица прикрывавшую его сетку. Он увидел совсем юное лицо с широко раскрытыми, немного раскосыми глазами, в которых застыл ужас. Рот был плотно сжат, и сквозь бледную узкую полоску губ яркой струйкой на выдохе вытекала кровь.

Подбежали солдаты. Один из них руками разорвал на девчонке паранджу, оголив ее тело до самого низа живота, который стал сплошным кровавым месивом. Девочка еще с трудом дышала, рот ее смягчился, губы что-то невнятное шептали, но их свела судорога, и вместе с последним выдохом изо рта хлынул поток черной крови.

Прапорщик осторожно опустил голову девочки на землю и крепко прижал свои окровавленные

ладони к глазам, смертельно уставшим за этот длинный день войны. Над собой он услышал голос лейтенанта Ключева, прыгнувшего с дувала:

— Ладно, Леонидыч, пошли, брось ты. Не впервой ведь...

Прапорщик молчал. Солдат, который разрывал одежду на девчонке, высокий, крепкий, удивленно прохрипел сорванным голосом:

— Что ж она, дура, за автомат хватается. Сидела бы дома, хрена по улицам бегать.

Белов поднялся, молча забрал у второго солдата саперную лопатку, сунул ему трофейный автомат, взял на руки убитую девчонку и побрел обратно в сторону арыка. Он переступил через арык, прошел еще шагов двадцать и, опустив труп на землю, начал долбить слежавшуюся, спекшуюся под адским солнцем в монолит почву. К нему опять подошел лейтенант:

— Леонидыч, брось ты ее, сейчас все равно бачи поывлазят, сами зароят... пойдем.

Прапорщик обернулся к Ключеву:

— Лейтенант, прошу, уйди отсюда, — и опять продолжил свою работу.

Ключев пожал плечами и пошел на окраину кишлака, где уже выставляли боевое охранение, дымила полевая кухня, батальон готовился ночевать.

Часа через полтора подошел и прапорщик. Он похоронил девчонку, насыпал небольшой холмик и, стянув с головы выцветшую панаму, немного постоял над могилой. Потом тяжело вздохнул и отправился в батальон.

...Этот сегодняшний бой был случайным, если на войне вообще бой может быть случайным.

Их батальон послали на поиски двух упавших в горах вертолетов. «Вертушки» сбили пять дней назад, точных координат их гибели зафиксировано не было. Вот и шел батальон в поиск, точно не зная, где искать. За эти дни их только дважды обстреляли: один раз — из «зеленки», а второй — когда они двигались километрах в двадцати отсюда. В батальоне было много необстрелянных пацанов, впервые вышедших на операцию. Они шли колонной. Впереди двигались два БТРа, за ними три «ГАЗ-66», и замыкали еще два «броника», а вдоль колонны все время мотался командирский уазик. Как только вся колонна втянулась в кишлак, блеснул разрыв, и сразу же вспыхнул головной БТР. С обеих сторон из-за дувалов затахтели автоматы. Водитель головного БТРа бросил загоревшуюся машину к дувалу и освободил путь другим машинам. Из подбитого бронетранспортёра высыпали солдаты и, не останавливаясь, поливали вдоль дувалов огнем из автоматов.

Прапорщик вскарабкался на тент «ГАЗ-66» и с силой начал швырять за стены дувалов гранаты, потом решетил их из автомата и кричал молодым солдатам, съезжившимся в испуге на дне кузова: «Патроны, мать вашу, патроны!».

Солдаты передавали набитые патронами магазины и бросались наполнять опустевшие, сбрасываемые прапорщиком.

Через несколько минут кишлак остался позади, и командир дал команду остановиться. Потеряли один БТР, людских потерь не было. Водитель машины был сильно контужен, двум солдатам осколками снесло ступни ног: когда рванул взрыв,

они сидели на броне. Остальные отделались легким испугом и царапинами. Командир приказал вызвать базу и доложил об обстреле, дал координаты и попросил забрать раненых. Потом колонна пошла дальше. Через час их догнали вертолеты. Один из них сел, забрал раненых и вновь умчался в высокое знойное небо. Перед тем как забрать раненых, вертолетчики снесли с лица земли тот небольшой кишлак.

После обстрела прапорщик долго разглядывал молодых солдат. Он читал на их лицах переживания, что бурлили в них. Были испуг, удивление, ошарашенность, но панического ужаса, к счастью, не было.

— Ничего, мужики, прорвемся, — сказал он, протягивая солдатам примятую пачку «Памира». Солдаты потянулись за сигаретами и дружно закурили. Старослужащие привычными движениями набивали опустевшие магазины, спокойно курили, лишь изредка перекидываясь фразами. Они, как и прапорщик, знали, что если кто-нибудь из духов уцелел в кишлаке и добрался до «зеленки», то впереди их ждет еще не одна засада...

Так что этот сегодняшний бой был не случайным, а, скорее, закономерным.

Вскоре, поужинав разогретой тушенкой, прапорщик залез под «ГАЗ-66» с установленным на борту минометом, придвинулся поближе к переднему колесу, под правую руку положил автомат, левую сунул под голову и закрыл глаза. Солдаты и офицеры, не занятые в охране, тоже улеглись. Возились недолго, быстро приноравливаясь к неровностям афганской земли. У санитарной

машины кто-то негромко стонал. Санитары заворачивали в плащ-палатки трупы солдат и укладывали их в кузов машины. В этом бою было много потерь. Двадцать три человека погибли, еще трое скончались уже после перевязки, и семь человек были ранены.

Белов забылся в тяжелом сне. Его тело напрягалось, кулаки стискивались, из горла вырывались хриплые стоны. Он переживал сегодняшний бой еще раз во сне. К нему приходили и убитые им люди, чтобы умереть опять от его руки, и убитые этими людьми солдаты его батальона, и эта девочка, погибшая сегодня по случайности. Прапорщик побывал во многих боях, потерял многих друзей и солдат, был сам дважды ранен и контужен. Казалось бы, смерть и кровь вошли прочно в его жизнь, но каждый бой и каждая смерть заставляли его мучительно переживать. В отпуске, отдыхая в Союзе, он мучился, и днем и ночью вспоминая пережитое на войне. Он и в армии слыл нелюдимым человеком, а в Союзе вообще дичился людей и предпочитал уединение. Люди, узнав, что он приехал «из-за речки», пытались разговорить его, но быстро отступали. Прапорщик ждал конца отпуска с ужасом и облегчением...

Внезапно сильно грохнуло. Сноп пламени и комья земли рванули рядом с санитарной машиной. За первым разрывом блеснул с треском еще один. Белов схватил автомат и юркнул глубже под машину, надо было разобраться в происходящем. Духи стреляли из безоткатных орудий со стороны «зеленки». Вокруг метались солдаты. Прапорщик заорал пробегающему мимо сержанту:

— Шинин, ко мне! Всем занять оборону!

Несмотря на грохот, люди его взвода услышали команду и кинулись по своим местам. Шинин влез под машину и притиснулся к Белову.

— К каждому старику по два молодых, — отдавал распоряжения прапорщик. — Я буду у переднего края. Найдешь меня там. Все.

Шинин скользнул в ночь и растворился в темноте.

С машины, под которой лежал прапорщик, солдаты начали обстрел из миномета, но стреляли крайне редко, чтобы не дать возможности духам пристреляться по вспышкам. Под машину буквально влетел лейтенант Клюев, он был бос и безоружен. Вытаращенными от ужаса глазами он смотрел на автомат прапорщика и визжал:

— Огонь! Огонь!

Прапорщик выскочил из-под машины, оттолкнув в сторону Клюева, и побежал к передней линии обороны, где ни на секунду не умолкала стрельба. Он добежал до небольшой ямы, в которой залегли и поливали пулеметным огнем невидимого противника трое его солдат. Белов присоединился к ним. Справа от себя он увидел в короткой вспышке труп солдата и сразу узнал одного из молодых. Вот-вот должна была начаться атака. Духи вели огонь плотно и вскоре ввели снаряд в санитарную машину. Все, что там находилось, разлетелось в клочья, уносясь в разные стороны. На ноги Белова что-то мягко шлепнулось. Он оглянулся и при свете ярко горящей машины разглядел какой-то бесформенный влажно мерцающий комок. Прапорщик протянул назад

руку, схватил этот предмет, сразу ощутив его теплоту и мягкость, и поднес его ближе к глазам. Это была чья-то рука, оторванная ниже локтевого сустава, с ошметками мяса и кости. На обшлаге тлеющего рукава он увидел крепко пришитую пуговицу. Он осторожно положил руку на край ямы и сменил магазин...

Машина горела ярким факелом и освещала все вокруг, солдаты перебежали от арыка к машине, пытаясь залить огонь. Духи усилили стрельбу, и им удалось подбить оставшиеся два «броника», которые сильно чадили, но пламени, к счастью, не давали. Теперь гул взрывов, свист и визжание пуль, росчерки трассеров, стоны и крики слились в единое целое. Пламя все же вырвалось на волю и с яростным гудением пожирало трупы людей и машины. Бой продолжался, с каждой минутой все усиливаясь и стервенея. Стволы автоматов и пулеметов раскалились. Люди уже не орали, а рычали по-звериному. Прапорщик видел, как вспыхнул «ГАЗ-66», в котором лежали боеприпасы. Он рывком выскочил из ямы и кинулся к машине. На ходу понял, что борт загорелся от санитарной машины, горящий обломок которой упал рядом. Перепрыгнув через пламя, он вскочил на подножку и рванул дверь на себя. Из кабины на него вывалился труп водителя. Времени вытаскивать его не было, и прапорщик толкнул труп дальше в глубь кабины. Он втиснулся на место водителя, дал газ, выжал сцепление. Машина рывкнула, дернулась и скачком бросилась вперед. Прапорщик отвел машину подальше от огня, из-за сиденья выдернул одеяло и, выскочив

из кабины, прыжком кинулся к борту, стал сбивать пламя. Огонь нехотя съезжился и превратился в тлеющие глазки. К машине подбежал солдат с брезентовым ведром и залил обугленный борт.

Прапорщик услышал гул винтов и увидел бортовые огни двух «вертушек». Машины скользили над местом боя, но не стреляли, видимо, ориентируясь в темноте, сгущавшейся по мере удаления от позиций батальона. Духи уже не так уверенно вели огонь, и бой начал затихать. Вертолеты испугали духов, и те стали уходить к «зеленке», а затем выше в горы. «Вертушки» еще немного покружили над батальоном, стрельнули несколько раз в сторону гор и, не садясь, ушли.

Белов побежал назад к яме, которую оставил несколько минут назад, но на ее месте увидел дымящуюся воронку с рваными краями, из которой поднимался едкий дым. Духи, уходя в горы, продолжали стрелять, теперь уже из легкого оружия, и пули все еще метались над батальоном. Прапорщик стоя послал длинную очередь из автомата в сторону духов, забросил автомат за спину и достал «Памир». К нему бежал сержант Шинин. Он что-то кричал и размахивал левой рукой, свободной от автомата. Вдруг Шинин рухнул на колени, резко переломился в пояснице, вновь вскочил, закружился на месте, отшвырнул автомат и, схватившись руками за левый бок, ткнулся головой в землю. Прапорщик кинулся к сержанту. Шинин уже лежал на животе, неподалеку от догорающего БТРа, взорвавшегося чуть позже. Белов видел, как камуфляжная материя промокала кровью и отяжелевшая ткань плотно прилегала к телу солдата.

Он ножом вспорол куртку Шинина от воротника и резко рванул ткань. На обнажившемся теле солдата у пояса прапорщик увидел пульсирующую, бьющую кровью рану.

Подбежал медбрат с двумя солдатами. Они начали стирать ватными тампонами кровь, мазнули по ране антисептическим раствором и ввели шприц промедола. Затем переложили раненого на плащ-палатку и поволокли его в ту сторону, где был пункт сбора пострадавших, недалеко от арыка, потому что вода требовалась беспрерывно. Доктор, капитан Вощанюк, с помощью Шандры перевязывал раненых. Потери были ужасными. От батальона осталось меньше роты. Кроме Шинина, тяжелых не было. Были легкие ранения и контузии. Капитан отправился на КП доложить командиру о потерях.

Прапорщик подошел к группе раненых, увидел среди них троих своих солдат, дал им закурить и попросил подождать вертолет. Потом перешел к погибшим. Солдаты все подносили и подносили тела убитых и укладывали их в длинный ряд, не успевая прикрывать. Белов медленно брел вдоль этого кошмарного ряда, вглядываясь в уцелевшие лица. Узнав своего бойца, на короткий миг останавливался, шептал его фамилию и двигался дальше.

— Алтаев., Эркенов., Салмонавичус., Гогоберидзе., Петровский., — тускло хрипел голос, а мозг фиксировал: — Один., два., три...

Прапорщик насчитал очень много и ужаснулся: от его роты остались только он, раненый Шинин, лейтенант Клюев и те трое легко раненных.

Он вернулся назад, нашел лейтенанта и, закуривая, сел рядом с ним. Клюев уже был с автоматом и в ботинках, сидел, обхватив правой рукой левую, и тихонько раскачивался, изредка кривясь от боли.

— Лейтенант! — негромко позвал прапорщик. Тот виновато поднял глаза. — Наши пацаны почти все полегли, только трое ранены, и Шинин тяжелый, — прапорщик замолчал, затягиваясь вонючим дымом.

Лейтенант сторбился еще больше и молчал, потом вдруг быстро заговорил:

— Леонидыч, ты прости меня... Испугался я. Тут отпуск на носу, думал, что чуть постреляют — и все. Думал, боя не будет, а оно, видишь как.

Прапорщик всматривался в лицо Клюева, бледное и серое то ли от боли, то ли от пережитого страха. Тот продолжал хриплым от озлобления голосом:

— Ты, прапор, лучше молчи. Мне до старлея неделя осталась, документы уже ушли. Если промолчишь, то за этот бой да за ранение мне какой-нибудь орден навесят. Хотя, — он попытался ухмыльнуться бескровными губами, — я скажу: «Зачем мне орден? Я согласен на медаль». Ты понял? В случае чего, у меня и на тебя компра есть. Девчонку зачем сегодня прихлопнул? То-то! Клюев уже совершенно осмелел: — Ты же ее вначале. ., а потом пристрелил и, чтобы не докопались, похоронил...

— Ох и падаль же ты, лейтенант, — не повышая голоса, сказал прапорщик, перебивая горячечную скороговорку Клюева. — Шакалюга ты вонючая.

Офицер схватился было за автомат, но прапорщик, почти не размахиваясь, саданул огромным

кулаком в подбородок снизу вверх. Голова лейтенанта мотнулась назад, изо рта потекла тоненькая струйка крови.

— Дерьмо ты собачье, — все так же спокойно продолжал прапорщик, — о своей заднице тревожишься, а то, что пацанов твоих положили, тебя меньше всего волнует. Какая же ты сука! — и, сплюнув, пошел разыскивать капитана Воцанюка, разузнать, что с Шининым.

Капитан был у комбата — майора Пожарищенского. Капитан уже доложил о потерях. Майор сидел на корточках у рации и курил. Левый рукав его бушлата тлел, распространяя вокруг вонь горячей ваты. Прапорщик присоединился к офицерам. Из командиров остались в живых только комбат, капитан Воцанюк, лейтенант Клюев и прапорщик Белов. Капитан говорил:

— Шинин очень тяжелый. Видимо, пуля пробила почку. Срочно нужна операция. Часа три-четыре он еще протянет, но никак не больше.

Комбат отбросил окурок:

— Техники не будет. Все «вертушки» на Панджшере. Началась большая операция. В лучшем случае, прилетят за убитыми только к вечеру. Думайте, что делать будем.

Прапорщик кашлянул и хрипло сказал:

— Командир, дайте мне свой уазик. До Кандагара километров шестьдесят — семьдесят. Проскочу до рассвета.

— Ты что, охренел, что ли?! — вскрикнул комбат. — Перед Кандагаром «зеленку» днем не проскочишь безнаказанно, а ты ночью хочешь.

— Так ведь пока доеду, как раз светать начнет, — упрямылся Белов.

Майор помолчал, о чем-то раздумывая, потом заговорил:

— Хорошо. Повезешь Шинина. Остальные в порядке, воевать смогут. В сопровождение дать никого не могу — людей мало. Дождемся «вертушки», рвем оставшийся «газон» и уходим в горы, вертолеты-то все равно искать надо.

Майор закончил, встал, досадливо отряхнул загоревшийся было рукав и пошел к своей чудом уцелевшей в этом аду машине. Она была в порядке, только не было ни одного стекла и несколько дыр виднелись в дверцах кабины. Прапорщик вынул из кабины осколки, набросал между передним и задним сиденьями ворох бушлатов и медленно подкатил к раненым.

Капитан и Мишка Шандра уложили на бушлаты покорного Шинина, осторожно согнули ему в коленях ноги и захлопнули с обеих сторон дверцы. Прапорщик зафиксировал замки, чтобы во время пути дверцы не распахнулись. В это время Шинин пришел в себя, раскрыл глаза, полные мучительной боли, попытался облизать пересохшие губы, потянулся приподняться, но тут же вскрикнул от сумасшедшей боли и опять потерял сознание.

Белов проверил свой автомат, затем взял автомат Шинина, вогнал в него полный магазин, положил его на соседнее сиденье, пристроил рядом с ним десяток гранат и столько же автоматных рожков, скрученных парами между собой. Потом он вылез из машины и подошел проститься

с ранеными бойцами. Когда уже отходил от них, поймал на себе затравленный, злобный взгляд Клюева, молча кивнул ему и зашагал к машине, где его ждал майор.

— Давай, Леонидыч, пробуй. Надо проскочить. Мы еще пару суток покружим по сопкам, а потом, наверное, домой, в часть, — сказал комбат, пожал широкую ладонь прапорщика и добавил: — Знаешь, сейчас по рации сообщили, что у Воцанюка жена в Союзе родила сына, побежал на связь, подробности узнавать. Брат его письмо получил и вскрыл... Ну все, хоп! — комбат хлопнул Белова по плечу и отошел от машины.

Белов долил в бак бензин из канистры, отбросил ее в сторону, влез в кабину и, медленно набирая скорость, покатил к трассе, которая скрывалась за поворотом у выезда из кишлака.

Прапорщик проехал через весь кишлак, зорко осматриваясь по сторонам, но ничего тревожного не заметил. Люди, живущие здесь, затаились до утра. Он знал, что своих убитых и трупы душманов жители кишлака похоронили поздно ночью, и долго над их могилами заунывно пел мулла, и его молитву лишь изредка прерывал нестройный жиденский хор голосов: «Аллах акбар!».

Перед поворотом Белов увеличил скорость и проскочил быстро. Теперь дорога шла прямо, и он расслабил немного мышцы. Можно было теперь почти спокойно ехать до того кишлака, который разнесли вертолетчики. По обеим сторонам дороги расстилалась пустыня, и даже сейчас, ночью, в предрассветной темноте, можно было

прекрасно рассмотреть любой предмет, тем более если он двигался.

Машина шла легко, хорошо отрегулированный мотор гудел ровно и монотонно. Прапорщик посмотрел на часы: до рассвета оставалось около двух часов. На заднем сиденье зашевелился Шинин, прапорщик повернулся к нему:

— Ну, как дела, Андрюха? Жив?

Но Шинин, очевидно, не слышал вопроса, он еле шептал: «Пи-и-ить...».

Прапорщик левой рукой удерживал руль, а правой, отстегивая фляжку от ремня, говорил раненому:

— Андрюха, а вот пить тебе Воцанюк запретил, только губы смачивать дал добро.

Отвинтив крышку с фляжки, он смочил водой кусок бинта и, протянув руку назад, к лицу Шинина, протер влажным тампоном потрескавшиеся горячие губы сержанта. Тот потянулся к влаге, пытаясь поймать хоть одну каплю, но прапорщик уже убрал бинт.

— Ты, Андрюха, потерпи, осталось километров пятьдесят, — решил Белов хоть немного отвлечь раненого от боли. — Жаль, фары включить нельзя. На такой тачке на гражданке эти полсотни мы бы меньше чем за час мотанули. Как думаешь?

Шинин лежал молча, не стонал, видимо, вода придала ему силы. Прапорщик заговорил вновь:

— Нам с тобой, Андрей, нужно только «зеленку» проскочить. Скоро кишлак, а от него до Кандагара километров тридцать.

Действительно, впереди показались развалины, темнеющие бесформенной грудой. Он снизил

скорость до минимума и осторожно въехал в рас-терзанный кишлак.

— Господи, хоть бы дорога не была завале-на, — взмолился прапорщик и тут же нажал но-гой на педаль тормоза: перед машиной высилась гряда какого-то хлама. Белов чертыхнулся, по-ставил машину на ручник и, не глуша двигатель, выскользнул из кабины. Он сразу кинулся к гряде мусора и стал разгребать его, откидывать крупные камни, отбрасывать тряпье. Завал был небольшой, и минут через десять он расчистил неширокий, но вполне пригодный для машины проезд. Все время, пока работал, ни на секунду не ослаблял внимания и следил за окружающим его чужим безмолвием. Теперь он прошел немного вперед и увидел, что дорога впереди чистая, без завалов. Он хотел было уже вернуться к машине, но вдруг услышал с правой стороны какой-то писк. Белов резко присел, направив ствол автомата туда, отку-да повторился звук. Через некоторое время опять пискнуло. Прапорщик до боли в глазах всматри-вался в развалины, но ничего не видел.

— Может, котенка придавило? — подумал он и, встав на ноги, осторожно стал подходить к куче тряпья, из которой, как он установил, до-носился писк. Подойдя вплотную, присел на кор-точки, оглянулся по сторонам и левой рукой включил фонарик. Осмотрев тряпье, он осто-рожно стал отбрасывать клочья материи, потому что знал, что духи со своей азиатской хитростью любили ставить мины-ловушки в таких ме-стах, где другому человеку и в голову не придет. Но тут вроде бы все было чисто. Белов увидел,

что тряпье зашевелилось, и опять раздался писк. Он приподнял тонкое одеяло и опешил. На кам-нях лежала мертвая женщина в парандже, с раз-дробленной головой, а к груди она прижимала застывшими руками младенца. Ребенок тыкался головой в окаменевшее тело матери, причмо-кивал губами и тоненько пищал. Прапорщик с силой разжал руки женщины и потянул к себе ребенка, который сразу же забился и закричал в руках Белова. Тот бегом кинулся к машине. Вокруг все было спокойно. Шинин лежал тихо, без сознания. Прапорщик включил плафон осве-щения, положил ребенка на сиденье и только теперь понял, что тряпье, в которое завернут ма-лыш, пропитано кровью. Белов знал, что коман-дирский водитель — мужик запасливый, и под-нял второе сиденье, под которым нашел сверток абсолютно новых портянок, зимних, байковых, широких. Он расстелил их на сиденье и подошел к ребенку. Малыш все еще плакал, по-взросло-му всхлипывал и морщил маленькую мордашку. Белов принялся разматывать пеленки. Кое-где материя заскорузла от крови и прочно слиплась, приходилось с силой, но аккуратно ее раздирать. Когда он убрал последние пеленки, ребенок, только что замолчавший, вновь закричал и за-двигал ножками. Прапорщик охнул, как будто его шарахнули по голове прикладом, оперся ру-ками о приборную доску и спинку сиденья, стоял и смотрел на мальчика полутора-двух месяцев от роду. Правая ножка была оторвана по колено и лежала рядом почерневшим инородным телом. Жалость горячо обожгла Белова, его тело сразу

обмякло, но он взял себя в руки и осмотрел культю. Из раны медленно сочилась кровь. Водой из фляги он смыл сукровицу, смазал рану антисептиком, потом йодом. Мальчик зашелся криком и беззвучно раскрыл рот, синяя и дергаясь всем телом. Белов резко дунул в лицо малыша (где-то слышал об этом) — и ребенок, передохнув, закричал с новой силой. От крика очнулся Шинин и посмотрел непонимающим взглядом.

— Пополнение у нас, Андрюха, — бормотал Белов, размышляя, сколько промедола можно ввести ребенку.

Здоровому мужику вводят весь шприц, значит, пацаненку и четвертинки хватит, рассудил прапорщик и воткнул иглу шприца в бедро израненной ноги ребенка. Потом он туго забинтовал культю, переложил младенца на расстеленные портянки и запеленал. Ребенок успокаивался, изредка глубоко вздыхая и попискивая.

— Да ты же лопать, наверное, хочешь! — осенило Белова, и он достал из бардачка банку сгущенки, вскрыл ее штык-ножом, свернул из бинта подобие соски, окунул ее в банку и сунул ему в рот. Мальчик зачмокал и закрыл глаза.

Только теперь прапорщик взглянул на небо. Звезд уже не было, и за дальними сопками угадывалось наступление утра. Белов еще раз окунул «соску» в сгущенку, дал ее засыпающему ребенку, смочил губы Шинина мокрым бинтом и уселся за руль. Теперь нужно было ехать быстрее: полчаса потеряно. Прапорщик ощущал прилив сил, появилось чувство, что все закончится хорошо, и он все увеличивал и увеличивал скорость.

Вскоре впереди показалась кандагарская «зеленка», тесным коридором обступающая трассу. Теперь уже по обочинам дороги валялось много техники: сгоревшие «Уралы», перевернутые «наливники», разодранные взрывом и перевернутые БТРы, продырявленные юркие «ГАЗоны». У самого въезда в «зеленку», беспомощно задрав вверх колеса, лежал «МАЗ», он еще дымился, видимо, подорвали его вечером или ночью. Прапорщик увеличил скорость, и машина понеслась вдоль виноградников.

Автоматная очередь внезапно резанула металл над головой Белова. Он затормозил и сразу же сильно бросил ногу на педаль газа. Правой рукой хватая с приборной доски гранаты, зубами выдирал кольца и швырял по разные стороны от машины гремучие заряды. Гранаты рвались позади машины, создавая страшный грохот в предутренней тишине. Когда гранат не стало, прапорщик высунул ствол автомата перед собой и, поводя им слева направо, давил на курок. От грохота ребенок проснулся и заплакал, сзади громко захрипел Шинин. От толчков его тело повернулось на простреленный бок.

— Терпите, мужики, терпите, — шептал Белов, пытаясь правой рукой сменить магазин автомата, но от тряски тот съехал с колен, и никак не удавалось втиснуть новый. Прапорщик перестал делать попытки и сосредоточил все внимание на дороге, изрытой воронками от мин.

Прямо перед машиной, метрах в пятнадцати от нее, на дорогу выскочили два духа и открыли огонь из автоматов. Пули зацелкали по машине,

и прапорщик вдавил тормоз в пол. Машина остановилась как вкопанная. Белов почувствовал, что пуля вонзилась в его плечо. Он упал на сиденье, где лежал ребенок, и укрыл его своим телом. Ногу Белов старался не убирать с педали. Мотор потихоньку работал. Громко стонал Шинин, а именно этого и хотел прапорщик. Он подтянул к себе упавший автомат и, стараясь не лязгать металлом, присоединил к нему новый магазин. О боли в плече он старался не думать, беспокоился только о том, чтобы в нужный момент рука не подвела. Попробовал пошевелить пальцами — все нормально, даже не очень больно.

Голоса приближающихся духов раздавались со всех сторон, но прапорщика интересовали только те, которые двигались от Кандагара. Когда голоса приблизились настолько, что Белов стал различать отдельные слова, он рывком втиснулся в кресло, и машина бросилась вперед, сметая все на своем пути. Белов даже не увидел, а почувствовал мощные удары, которые нанесла машина по приближавшимся духам. Теперь он высунул автомат через боковое окошко, направил ствол назад и лупил из него короткими очередями. Духи тоже стреляли, но беспорядочно и не целясь, и машина уносилась все дальше и дальше к спасительному повороту, за которым были видны склады ГСМ, а там — ребята из боевого охранения.

В машине орал все. Орал младенец, который хотел есть и пить, а может быть, действие промедола закончилось и ребенку опять было больно. Орал Шинин, орал от страшной боли и от желания мочиться, которое он подавлял всю дорогу, и те-

перь не мог себя больше сдерживать, Орал прапорщик от восторга, что все получилось, орал, чтобы не заплакать от жалости к своим погибшим бойцам, к убитой им девочке, к младенцу, спасением которого он купил себе индульгенцию, орал от боли, которая уже прочно поселилась в его теле. Так и мчались они орудием компанией навстречу удивленным солдатам-минометчикам из охраны ГСМ.

— Все, мужики, приехали, — севшим голосом просипел Белов, слабея телом, привалился к дверце, затормозил у ворот склада ГСМ, заглушил двигатель и потерял сознание.

МИШКА

Бой был коротким, кровавым и беспощадно жестоким. Засада оказалась классической по замыслу и ужасающе простой по исполнению. Духи прятались в неглубоких расщелинах скал, обрамлявших подступы к пустыне, и в редких кустах виноградника...

После того как Белов увез Шинина в Кандагар, прошло уже двое суток, на протяжении которых остатки батальона брели по испеченной солнцем пустыне в поисках сбитых вертушек. Солдаты еле передвигали ноги, то забираясь на ненавистные бесконечные сопки, то спускаясь с них. Вода и продукты заканчивались, патронов оставалось по магазину на автомат. Раненые страдали от жажды больше других, время от времени кто-нибудь из них терял сознание и бесшумно падал в пыль. К ним немедленно подбегал медбрат Мишка Шандра, уставший не меньше остальных, и, весело ба-

лагурия, приводил в чувство упавшего. После этого раненые старались увеличить шаг и инстинктивно держались ближе к здоровым людям. Комбат видел, что батальон идет кучно, и понимал всю опасность такого марша, но впервые за все время службы здесь, на войне, не настаивал на том, чтобы солдаты держали интервал.

Во время последнего привала, когда бойцы быстро давились осточертевшей тушенкой и галетным крошечком, запивая эту пищу крохотными, экономными глотками теплой воды, комбат позвал офицеров к себе. Они отошли к подножию очередной сопки, на которую приходилось карабкаться после привала, и сели прямо на горячую землю. Комбат вынул последнюю папиросу из помятой пачки, закурил и передал ее Воцанюку. Тот, в свою очередь, сделал две жадные большие затяжки крепкого дыма и передал остатки сигареты Клюеву, который, пользуясь правом последнего, не спеша докурив ее, обжигая пальцы, до самого конца и с сожалением вдавил окурок в пыль.

— Все, мужики, хватит, — заговорил комбат, сплевывая горькие табачные крошки, налипшие на нижнюю губу, — сегодня последний день поиска. До вечера продолжаем маршрут. На ночевке вызываем «вертушки»... Как раненые? — спросил без всякого перехода у Воцанюка.

— В общем-то, неплохо, — ответил капитан, — устали сильно. У Ахмедова и Пшеничного раны плохие, загноились: грязь попала. Медикаментов нет. Сейчас с Шандрой последние бинты израсходовали, да вот еще один Клюеву оставили.

Об инциденте во время боя прапорщик Белов никому не рассказывал. Клюев знал об этом, но после той ночи вел себя замкнуто, старался меньше общаться с солдатами, не требовал большого внимания от Воцанюка. Он был ранен автоматной пулей в мякоть правого предплечья. Рана оказалась «чистой», то есть пуля прошла насквозь, не задев кости. Особой боли не было, и за эти дни рана затянулась тонкой розовой пленочкой, что с удовлетворением отмечал Клюев.

Капитан предложил лейтенанту сделать перевязку, но тот отказался:

— Да ладно, у меня бинт еще чистый: сегодня не кровило.

— Ну хорошо, — Пожарищенский встал. Поднялись и остальные. — Сейчас свертываемся, вернется дозор, и идем сюда! — Он ткнул указательным пальцем на вершину сопки, у подножия которой они только что сидели. — Сейчас нужно поговорить с солдатами, чтобы не шли кучно. Беду чую. — Почему не было второго нападения? Ведь знают же, знают, гады, что у нас потери большие и машин больше нет... Здесь они где-то! Здесь... — убежденно вздохнул комбат. — Клюев, проверьте боекомплект, хотя какой к черту боекомплект!

Офицеры стояли молча. Клюев угрюмо, сосредоточенно смотрел на сопку, а Воцанюк был радостно улыбочив. Это немного раздражало майора, но он понимал состояние Воцанюка и спросил у него:

— Решил, как сына назовешь, капитан?

— Да нет еще, — счастливо улыбнулся капитан, — думаю, может, как отца, Сережкой?!

— Добро, — комбат хлопнул капитана по плечу, — а теперь вперед, вон уже дозор возвращается.

На далеком гребне холма показались фигурки солдат из дозора. С такого расстояния их можно было разглядеть только в бинокль, но и то помешало бы горячее марево, струящееся от земли. Да и единственный уцелевший бинокль был только у старшего дозора, сержанта Князева, так что оставалось только терпеливо ждать новостей...

— Клюев, — окликнул майор уходящего к солдатам лейтенанта, — возьмите Шандру и еще двоих бойцов, пойдете в прикрытие. Если будут раненые, помогите санитарам.

— Воцанюк, пойдете в центре. Раненых рассредоточим между здоровыми. Я буду впереди. На сопку идем широкой шеренгой. Интервал не менее пяти метров. Все, идите. — Комбат пошел навстречу возвращающейся разведке.

Князев доложил, что ничего не обнаружили. За этой сопкой еще одна, немного выше этой. Комбат дал им десять минут перекусить и скомандовал марш.

Солдаты длинной цепью поднимались на сопку, охватив ее большим сегментом. Через полчаса они были на ее вершине и начали спускаться вниз, цепляя стоптанными каблуками ботинок землю. Пыль поднималась вверх и в полном безветрии медленно оседала, забивая и без того хрипящие легкие людей. Перед ними раскинулась следующая сопка, такая же серая, как и все предыдущие, с редкими кустиками колючки и острыми камен-

ными вкраплениями, которые встречались все чаще и указывали на близость гор.

Шандра шел, еле передвигая ноги. Он страшно устал, даже больше, чем все остальные, поскольку во время ночного отдыха большую часть времени проводил с ранеными: обрабатывал раны, колол лекарства (пока они были), перевязывал. Свою усталость Шандра гасил в себе и не показывал ее ничем. По своему характеру он был подвижный зубоскал, но беззлобный и отзывчивый. Врагов у него не было ни скрытых, ни явных. Даже дедовщина его не коснулась никоим образом ни в начале службы, ни теперь, когда оставались считанные недели. Родом он был с Украины, речь перемежал мягкими украинскими словами, и, наверное, поэтому его самые острые шутки смягчались. Этот рейд был для Мишки самым тяжелым не только потому, что был последним, как им, дембелям, обещал замполит полка, но и потому, что уж очень много крови и смертей было за неделю с небольшим. Шандра дня три чувствовал приближение какого-то бедствия, но по привычке отгонял от себя это предчувствие анекдотами, которых он знал великое множество. Солдат и офицеров удивляла способность Мишки травить анекдоты часами и никогда не повторяться. Все ломали головы, откуда у него столько?! А Шандра все рассказывал и рассказывал, но умалчивал об одном, что все его братья (а их у него было восемь) в каждом письме подбрасывали два-три свеженьких.

Шандру любили и уважали не только за его балагурство. Рука у него была легкая, что ли? Почти

все раненые, которым он делал первую перевязку, очень скоро выздоравливали.

Мишка терпеть не мог безделья и скучал от вынужденного ничегонеделания. Первое время, когда только начинал службу в Афгане, он явился спасителем солдат и офицеров в жизненно важных вопросах. В полку была жуткая нехватка ложек. Мишка подобрал на аэродроме деревянные брусья от разбитой бомботары и за несколько недель нарезал ложек для всех, причем расписал их все восточным орнаментом, вписав в узор годы службы по григорианскому и восточному календарям. Многие хранили эти ложки как талисман и увозили, если удавалось, домой в качестве сувениров...

Чуть позже полк настигла другая беда: у старшины закончился табак, а самолет-почтовик с письмами и табачным довольствием был сбит духами при заходе на посадку Кандагарского аэродрома. Во всем расположении полка невозможно было найти даже маленького окурочка, все было собрано подчистую, аккуратно ссыпан табак, и солдаты с офицерами курили вонючие газетные самокрутки.

Шандра в три дня вырезал на каждое отделение по трубке, и полк стал похож на казачий курень, когда люди закуривали по очереди и неумело затягивались из шандровских «люлек», как он сам называл свои изделия.

До армии Мишка закончил медучилище, и вот уже почти два года был солдатским доктором...

Батальон медленно поднимался к вершине сопки. Шандра заметил, что Ахмедов все чаще огля-

дывается назад и ищет взглядом Мишку. Шандра догнал раненого и шел сзади него метрах в пяти, но все равно не успел подхватить рухнувшего ничком Ахмедова. Мишка подскочил к потерявшему сознание, перевернул на спину. Ахмедов сторал в высокой температуре. Шандра ничем не мог ему помочь, кроме того, что смочил его губы водой из своей фляги и протер виски влажными пальцами. Ахмедов чуть приоткрыл глаза и начал вставать, медленно раскачиваясь и опираясь здоровой рукой о Мишкино плечо. Шандра забросил автомат за спину, отобрал оружие у Ахмедова, и они последними взобрались на вершину.

В ложбине, между подножием сопки и тонкой полоской «зеленки», Мишка увидел обгоревшие останки двух вертолетов. Солдаты уже летели вниз во главе с комбатом, радостно размахивая руками и вопя во все горло. Даже Ахмедов воспрянул духом и заторопился вниз, отпустив Мишкино плечо. Шандра бежал за раненым, чутко следя за ним. Теперь уже склон сопки был почти весь каменистый, а за «зеленкой» высились скалы.

Солдаты сбежали в лощинку и бросились к вертолетам, но комбат был уже около машин и, подняв руку вверх, закричал: «Стой!». Все остановились, тяжело передыхая. Восторг сменился горечью. «Вертушки» лежали рядом друг с другом так, что лужи расплавленного металла слились в одно озерцо и тускло отсвечивали под солнцем. От машин остались только автоматы перекоса винтов и другие особо прочные стальные части, в том числе и вооружение. Все было закопченным и черным. В одном из вертолетов на месте кабины

стояла фигура летчика, сгоревшего в адском пламени, со вскинутыми высоко вверх руками, истонченными огнем. Остальных пилотов не было видно, очевидно, обратились в прах.

Комбат подошел вплотную к обгоревшему вертолету и внимательно осмотрел его. Все вооружение было на месте, можно было спокойно сообщать в полк, но что-то все же тревожило, какие-то неуловимые признаки того, что здесь кто-то был. Пожарищенский обошел вокруг места катастрофы, под ногой похрустывал тонкой корочкой дюраль. Комбат подошел ближе к стоящему трупу и вдруг понял: вот оно! Подошва ботинок не издала знакомого звука раздавливаемого металла, а наткнулась на что-то твердое и пружинистое.

Пока Пожарищенский обходил «вертушки», солдаты столпились и, скинув автоматы с плеч, натертых до крови, присели, докуривая остатки табака. Во всем чувствовалось расслабление, рейд подходил к концу, скоро — в полк, домой. А там неделя отдыха, может быть, даже баня, горячая пища, свежая вода, хлеб, курица, да мало ли приятностей ожидает солдата в родном полку.

Шандра в это время опять склонился над вконец обессилевшим Ахмедовым, тот лежал на спине, тяжело дыша. Мишка смотал с его руки окровавленные бинты и отбросил их в сторону. Рана была в ужаснейшем состоянии, гной вытекал и края раны заметно распались, ширя красную волну припухлости. Мишка увидел Воцанюка и громко позвал его. Капитан подошел и вынул из подсумка единственный бинт, от которого

отказался Ключев. Воцанюк бегло осмотрел рану и понял, что ампутация неизбежна, если, конечно, еще возможна. Шандра наматывал свежий бинт, моментально пропитывающийся резко воняющей жидкостью, и в это время грохнул взрыв, в клочья разнесший майора Пожарищенского.

Как только рвануло, духи открыли огонь из засады. Пули безжалостно косили растерявшихся солдат. Многие так и не успели поднять свои автоматы и замертво валились на землю. Мишка еще не успел понять, что произошло, как крупнокалиберная пуля перебила ему лучевую кость правой руки, на которую он оперся, чтобы встать после перевязки Ахмедова. Другие пули этого же калибра прошли все еще стоявшего Воцанюка, и он рухнул на Шандру, прикрыв его своим крупным телом. Больше Мишка не видел ничего.

А солдаты гибли... Ключев стоял на коленях и давил на курок автомата, поводя стволом из стороны в сторону, давил даже тогда, когда перестал ощущать дрожание оружия, и, получив пулю в голову, все равно давил на курок, пока смерть не ослабила его пальцы. В какие-нибудь пять минут все было закончено...

Шандра очнулся от резкой боли в руке. Тошнота подступала к горлу, обожженному сухостью. Хотелось пить. Мишка попробовал шевельнуть языком, но тот, казалось, распух до невероятных размеров и лишь больно дернул рот. Тогда он приоткрыл глаза. Все вокруг двоилось и троялось, раскачивалось и плыло куда-то вверх. Прежде чем вновь закрыть глаза, Мишка успел заметить, что неподалеку от него бродят люди, но кто

они такие, не было ни желания, ни сил рассматривать. Прежде всего он решил определиться, что с ним произошло и что такое давит на него сверху. Он опять открыл глаза и увидел, что на нем лежит тело Воцанюка. Шандра попытался напрячься и сбросить груз с себя, но сумасшедшая боль заставила прекратить эти попытки. Он вновь расслабился, пытаясь удержаться в здравом рассудке: подавлял тошноту, напрягал слух. Его удивило, что он видел людей, но не слышал ни единого звука.

Через некоторое время в ушах появился легкий звон, а потом стали прорезаться искаженные звуки, то резко колющие перепонки, то затихающие. Стало труднее дышать. Мишка чуть повернул голову и приоткрыл рот. Сейчас же откуда-то сверху скользнула струйка тягучей жидкости и увлажнила его десна и язык. Шандра сначала обрадовался и проглотил немного, но тут же понял, что это кровь, и его опять тряхнули судороги в желудке. Мишка дернулся всем телом, и звуки ринулись в полном звучании в его мозг, больно рая его. Теперь Шандра услышал гортанную речь, одиночные выстрелы, и до него дошло, что за людей он видел.

Через узенькую щелочку век Мишка рассматривал дикую картину мародерства, вернее, только маленькую часть картины, окружавшей его. На том отрезке пространства, который он мог видеть, повсюду лежали трупы солдат. Духи ходили смело, не пригибались, не оборачивались, громко переговаривались и смеялись. Они подходили к убитым, переворачивали их ногами на спину,

стаскивали одежду, если она не была сильно испачкана кровью, забирали ценные на их взгляд вещи: часы, авторучки, портсигары и прочую мелочь, что обычно водится в солдатских карманах. Изредка духи стреляли одиночными в голову тем, кто еще показывал признаки жизни, или перерезали им горло широкими лезвиями кинжалов.

Шандра замер. Он лихорадочно вспоминал, где его автомат. Ни под собой, ни на себе он не ощущал ничего жесткого... И вдруг его осенило, что в санитарной сумке у него лежит граната, и пожалел, что не сможет ее достать. «Эх, достать бы сейчас эту гранату! — мучительно размышлял Мишка. — Я бы вам, сукам, показал кузькину мать!». Сквозь щелку прикрытых век увидел подходящие к нему ноги, наискось перечеркнутые стволом автомата. Шандра успел рассмотреть еще новенькие мягкие сапоги, расшитые цветным бисером, и закрыл глаза. Теперь он слышал, как эти ноги вплотную подошли к его голове и пошли вокруг, уверенно вминаясь в песок. Мишка все время ждал выстрела, но почувствовал только грубый толчок в левый бок. Тяжесть, давившая на него сверху, исчезла. Шандра чувствовал себя совершенно голым и беззащитным под взглядом духа, но того привлекла портупья Воцанюка, и он, что-то бормоча, торопливо снимал ее. Мишка ничем не мог порадовать глаз духа, так как весь был залит кровью капитана, создававшей иллюзию того, что Шандра мертв.

Очень скоро духи выпотрошили всех и, отойдя к обгоревшему винограднику, постелили на землю цветастые платки, уселись на колени и вознес-

ли Аллаху благодарственную молитву. Потом они поднялись и скрылись в каменных россыпях скал.

Мишка долго наблюдал за ними, лоя взглядом то тут, то там выплывающие из-за камней чалмы и горько жалея, что стрелнуть в эти ненавистные головы не из чего.

Прошло около часа, прежде чем Мишка решился подняться с Ахмедова. Он сполз с остывшего трупа и сел. Голова раскальвалась от боли, тошнота давила все сильнее, истощенный организм не мог ничего извергнуть из желудка; до умопомрачения колело в животе. И не только это сильно беспокоило Мишку, саднила правая рука. Теперь он взглянул на нее и увидел, что выше кисти кость раздроблена, а обломки ее торчат белыми зубьями сквозь черно-красную запыленную плоть. Шандра понимал, что срочно нужно промыть и забинтовать, но он слишком хорошо знал, что сделать это нечем. Он посидел еще немного, размышляя над тем, что ему делать, потом поднялся на ноги, придерживая изуродованную руку левой. Тут же он увидел свою сумку, затоптанную чужими ногами. Он поднял ее, с радостью ощутил в ней тяжесть гранаты. Мишка вытащил ее, сумку отбросил, ввинтил запал и сунул гранату в левый карман брюк. Теперь он почувствовал себя увереннее.

Мишка бродил среди убитых друзей, многих не узнавая, так как душманские пули разворотили их лица в кровавое месиво. Всех нашел, но никак не мог понять, где же Пожарищенский, пока не вспомнил, что все началось со взрыва. Теперь Мишка решил уходить вслед за духами. Навер-

няка где-то рядом есть кишлак, в который пошли духи. А если есть кишлак, значит, есть и дорога, по которой рано или поздно должны идти армейские машины. Мишка еще раз обошел место гибели батальона, но ничего из оружия не нашел, шарить же по подсумкам в поисках пищи и курева не стал. Только подобрал с земли широкополую офицерскую панаму и почти полную флягу воды...

Перед наступлением темноты Мишка нашел небольшое углубление в скале, прикрытое сверху плоским козырьком, улегся на не остывший еще камень. Ночь пришла темная, прозрачно тихая, с ясным звездным небом. Шандра чувствовал, что у него повышается температура и скоро он начнет замерзать. Планы на завтрашний день мешались в его голове. Вскоре, так ничего и не придумав, Мишка погрузился в болезненно бредовую муть тяжелого сна. Его трясла лихорадка, он что-то вскрикивал сквозь отуманенное сознание, пугаясь своего же голоса. Так прошла долгая ночь, и лишь под утро Мишка уснул на несколько часов, пока кругломордое солнце не начало раскалять воздух и камни. Шандра проснулся немного окрепшим, и теперь более оптимистически смотрел на ожидающие его впереди испытания. Рука ныла, изредка подергивая и покалывая иглами боли. Значит, рана загноилась, и теперь вопрос времени, будет ли у него рука. Эта мысль поставила Мишку на ноги. Он снял с себя ремень и, помогая левой руке зубами, увеличил его на всю возможную длину. Потом расстелил его на земле и, примерившись, улегся на спину так, чтобы застегнутый ремень плотно перехватил раненую

руку. Ценой невероятных усилий ему удалось это. Немного полежав, отдохнув, Мишка встал, натянул панаму на голову, подобрал флягу и начал карабкаться вверх на скалу, имеющую удобный наклон для подъема, и трещины, достаточные для того, чтобы втиснуть в них стопу.

К полудню Шандра поднялся на вершину скалы, но не увидел с нее ничего для себя утешительного, а только следующую гору, гораздо выше этой. Мишка громко выругался. Делать было нечего, и он начал спуск. У подножия горы Мишка был к вечеру. За весь день он не встретил никого, кроме греющейся на камне кобры. Обошел ее от греха подальше. На этот раз он быстро уснул, разбитое тело требовало отдыха, но рана беспрерывно дергала, и скоро Мишку затрясло. Ему не хотелось есть, но жажда вынудила еще днем выпить большую половину воды из фляжки, он испугался, что в беспамятстве выпьет остатки, поэтому, прежде чем улечься, он отбросил фляжку подальше от себя.

Эта ночь совершенно вымотала Мишку. Утром он еле смог подняться. На раненую руку он старался не смотреть. Она совершенно распухла, и каждое движение отдавалось в ней болью. Все тело ломило, хотелось лечь и лежать, лежать без движения...

Наконец Мишка вскарабкался на вершину. Под горой лежал небольшой кишлачок, а чуть дальше виднелась дорога. Он решил дождаться темноты, чтобы пробраться поближе к цели своего пути, а пока лежал, напрягая зрение, рассматривал дорогу и кишлак. Дома были плотно прикреплены

друг к другу и соединены общим широким дувалом. Мишка разглядел на одном домишке вывеску и понял, что это кантин.

Его всегда удивляли контрасты между нищетою и богатством в этой стране. В самом зачуханном кантине можно было увидеть товары для нищего и богатея: от рваных лохмотьев до шикарных дубленок, от ручных ступок до «шарпов» последних модификаций. И это никого не удивляло и не смущало. Принцип один: на что есть деньги, то и покупай.

По дороге прошла колонна машин, и Мишка разглядел, что это местные «барбухайки», до невероятности разукрашенные и обклеенные разноцветными картинками. Так он пролежал долго, до тех пор, пока в кишлаке не закончился вечерний намаз.

Луна светила ярко, и Мишка спустился на противоположный от кишлака склон горы и пошел в нужном направлении. Но ноги плохо слушались его, и он все чаще и чаще присаживался на камни и терял сознание, вода давно закончилась, да и флягу он потерял где-то по пути вместе с гранатой, которую зачем-то вынул из кармана...

Перед восходом солнца Мишка увидел, что дорога находится прямо перед ним. Судя по большому количеству обгоревших, сброшенных под откос машин, движение было здесь интенсивным.

Неподалеку от себя, среди скального монолита, Шандра обнаружил довольно широкую щель и забился в нее, чтобы спрятаться от жалящих лучей солнца. Боль в руке почти не тревожила, просто горела привычным жжением. Не хотелось

ни пить, ни есть. Оставалось только ждать, когда появится колонна военных грузовиков. Мишка уснул. Он не услышал, как по дороге прошла небольшая колонна «КамАЗов», охраняемая быстрыми «брониками».

Впервые за эти дни Мишка перестал бояться смерти, он перешел этот порог. Теперь ему было все равно, что с ним будет, и поэтому он крепко спал.

Забылся он часа на три. Злое солнце уже плавило землю, и горячее струящееся море дрожало над дорогой. Шандра открыл глаза, солнце тут же обожгло его мозг, и он попытался подальше втиснуться в приютившую его щель. Вдруг Мишка услышал ниже себя голоса. Он осторожно высунул голову из-за камня и посмотрел вниз. На скальной площадке, через которую ему нужно было спускаться к дороге, расположились трое духов. Они установили крупнокалиберный пулемет, направив его ствол в сторону дороги, и теперь лежали рядом с ним, переговариваясь, ожидая добычу.

Духи были молодыми, с черными, негустыми бородками. В кокетливых тюбетейках, в зеленоватых шароварах и широких рубахах навыпуск, с надетыми поверх коричневыми жилетами, они были похожи на разбойников из «Тысячи и одной ночи».

Из-за поворота дороги, скрытого горной грядой, послышался гул моторов, только потом показали неясные силуэты машин, расплывающиеся в прозрачной ряби. Духи напряженно следили за втягивающимися в сектор обстрела машинами.

Мишка крыл себя последними словами за потерянную гранату, которая могла разом перечеркнуть все старания духов. Теперь он мог уже разглядеть лицо водителя в головной машине со снаряженными ящиками. За этой машиной шли еще три с таким же грузом. Впереди и сзади колонны ехали БТРы. Под солнцем сияли стволы пулеметов, но стрелки не могли видеть духов, так как те были надежно спрятаны за камнями. Шандра надеялся, что под солнцем блеснет и оружие духов, но тщетно...

Мишка представил себе, что случится через несколько мгновений, как рванется в небо огненный смерч. И он решился...

Абсолютно бесшумно солдат выскользнул из своего укрытия, такого уютного и безопасного, пружинисто оттолкнулся от камней и, широко раскинув руки и ноги, бросился вниз на духов. Он упал прямо на пулемет, и молодой афганец, не ожидавший ничего, кроме скорой военной удачи, дернул курок.

Пулеметная очередь ударила в Мишку, вырывая из него большие куски, и сбросила его с площадки. Бесформенным комом падал Мишка вниз. И, уже умирая, он шепнул непослушными губами ласковое украинское слово:

— Мамо...

ВОЩАНИК

В то время, когда солдаты еще сладко потягивались в палатках, предвкушая недолгий отдых после затяжного рейда, разъяренный капитан Во-

щанюк шел от комбата. Несколько бойцов сидели в тени палаток, наслаждались прохладой раннего афганского утра, которое вот-вот должно было залить мир удушающей августовской жарой. Солдаты видели своего командира, но никак не могли понять связи между его злостью и своей дальнейшей судьбой.

Воцанюк подошел к палаткам и заорал:

— Старшина, подъем давай!

Прапорщик Губенко выскочил откуда-то из-за палаток и, длинно растягивая гласные, прокричал:

— Па-а-а-дъё-о-о-ом!..

Но все уже и так выстраивались на дорожке, всматриваясь в гладко выбритое лицо капитана, искаженное злостью. Воцанюк прошел вдоль строя и вернулся к его середине, немного помолчал и жестко сказал:

— Час на сборы! Выходим в рейд по «зеленкам».

Строй растерянно вздрогнул, но промолчал. Обычно после рейда полагался хоть какой-то отдых. От услышанного разом почувствовали мгновенную усталость, навалившуюся после двухнедельного рейда по этим чертовым «зеленкам», из которого они только вчера вернулись. Командир это прекрасно знал и понимал, какие чувства возникали у бойцов, и поэтому уже более мягко добавил:

— Мужики, надо. Больше некому.

Разбрелись. Завтрак прошел быстро. После рейдов завтрак обычно затягивался надолго, спешить-то было некуда, потом всех ждала почти настоящая русская баня, которую всегда устраи-

вал сибиряк Сашка Мохов. А теперь — хрен всем, а не баня. Старшина выдал боекомплект и сухпай. Бойцы хмуро крепили «лифчики» и бронжилеты поверх гимнастеров, затягивали ремни, увешав их подсумками с магазинами, и выходили опять на построение, но уже навьюченные, как верблюды, изредка матерясь и сплевывая в уже раскаленную пыль.

На ночлег остановились в апельсиновой роще на небольшой поляне. Огней не разводили. Даже курить капитан разрешил только под плащ-палаткой. Старшина расставил караулы по разным сторонам тропы, ведущей к поляне, и все быстро улеглись, дожевывая галеты и сахар. Сон на войне или валит сразу, или долго не приходит, как бы за день ты ни умаялся. Воцанюк лежал с открытыми глазами, и чувство тревоги, поселившееся в нем утром у комбата, полностью захватило его. Что-то было не так, что-то уж слишком гладко прошел сегодняшний день. Комбат сказал, что срочно нужно прочесать территорию в районах «зеленки», потому что духи сильно активизировались у Кандагара, видимо, готовят прорыв перед осенней операцией. Поэтому все группы батальона были брошены на разведку.

В предыдущем рейде группа Воцанюка прочесывала противоположное нынешнему направление, и там были стычки с духами с первого же дня, но не сильные, без потерь... А сегодня никого и ничего, хотя район заселен довольно густо для Афгана. Но абсолютная тишина. Странно.

Воцанюк залез с головой под плащ-палатку, быстро выкурил сигарету и, вынырнув наружу,

опять улегся. Через некоторое время старшина пошел менять караулы. Капитан дождался их возвращения и чуть задремал.

Он проснулся сразу, без привычного на гражданке перехода от сна к бодрствованию. Чувствовалось приближение утра, хотя и было еще непроницаемо темно. Капитан взглянул на часы, они показывали четыре. Эти часы ему подарил перед своим последним рейдом другой капитан Воцанюк, его родной брат. Теперь капитан берет этот «Омакс», чтобы отдать часы Серёжке — сыну брата, родившемуся за два дня до гибели отца.

Старшина спал рядом с капитаном, опершись о ствол апельсинового дерева, подложив под локоть правой руки неудобный, но надежный автомат. Воцанюк поднялся и, осторожно шагая, пошел снимать караулы.

...Оба солдата были мертвы. Капитан едва не споткнулся о труп одного из них, не заметив его в сереньком рассвете. Воцанюк опустился на колени и перевернул солдата на спину. Литовец Юозас, молчаливый великан. У него было перерезано горло. Рана уже подсохла, но от движения вновь жирно залоснилась кровью. Второй труп лежал в трех метрах от Юозаса. Воцанюк перешагнул к нему. Тело лежало на спине, головы не было. Воцанюк знал, что это Славка Долгих — безобидный, толстогубый москвич.

Капитан осмотрелся вокруг, но ничего настораживающего не было видно в уже ясно проступившем рассвете. Воцанюк пошел в обход к другому караулу, почти не сомневаясь, что там произошло то же самое. По пути подумал, что надо было

заскочить на поляну и поднять группу, но продолжал двигаться вперед, чутко всматриваясь и вслушиваясь в тишину рощи, поводя стволом автомата...

И этот пост был уничтожен: оба тела обезглавлены. Петька Глазов и Рашид Дурдыев лежали плечом к плечу, залитые обильной кровью, вытекшей из страшных срезов между плеч с белеющими костями позвончиков. Оружия с ними не было, как и у первого караула.

Теперь уже капитан ринулся через рощу прямо к поляне, почти не таясь. Бездна охватила его и заставила отказаться от осторожности, но он сдержал себя и зашагал медленно по этой чужой, далекой от Родины роще, без хрустких веток под ногами, без шуршащей листвы, без запаха прели.

По всей поляне лежали убитые, все семнадцать человек, застигнутые духами врасплох. Низкое еще солнце наискосок освещало поляну. Круг синееющего неба смотрел сверху на капитана, и Воцанюк вдруг услышал особенную тишину над этой поляной — тишину смерти, прерываемую интернациональным жужжанием мух, уже начавших свой мерзкий пир. Капитан ступил на поляну полностью опустошенный, уничтоженный случившимся. У его ног лежал старшина с разрубленной головой, его рука впиалась в ногу мертвого солдата, с короткой щетиной черных волос на затылке и безжалостной раной на макушке. Дальше лежали трупы остальных ребят с широко раскрытыми глазами и ртами, разбитыми головами и порубленными телами. Кровь, еще алая, со-

чилась из ран, медленно сворачиваясь, рубиново поблескивая, подчеркивая невозвратность происшедшего. Все приняли смерть, не успев проснуться, крикнуть, выстрелить, увидеть убийц, понять происходящее с ними, попытаться спастись.

Духи ушли только что, их следы хорошо были видны кровавыми пятнами, они вели к близким предгорьям.

Воцанюк уселся на землю, тупо глядя перед собой. Жужжание мух усилилось, в деревьях зачвиркала какая-то тварь. Мутным взглядом капитан обвел поляну в надежде уловить какое-нибудь движение. Но нет. Все были мертвы, все семнадцать. Капитан понимал, что вернуться назад он не может и не хочет. У него есть только один путь — вперед. Он поднялся с земли и, не оборачиваясь, быстро пошел по следам душманов. Вскоре роща закончилась, и перед капитаном открылась панорама невысоких сопок, плавно переходящих в горы. Воцанюк приложил к глазам бинокль и увидел уходящий за первую сопку отряд, тяжело нагруженный добытым оружием. Он долго разглядывал и вычислял возможный маршрут духов и решил двинуться им наперерез по более труднодоступному пути. Почти бегом он пересек не очень широкую полосу пустыни с редкими кустами верблюжьей колючки и вошел в засыхающие заросли винограда. На ходу сорвал огромную кисть прозрачных ягод и, не чувствуя сладкой прохлады, разжевал и проглотил виноград.

Сразу за виноградником капитан начал подьем на сопку, не на ту, за которой скрылись духи,

а на стоящую рядом, и тут уже он не стал торопиться. В его голове возник план, который мог удасться только при точном расчете. Взобравшись на вершину, Воцанюк лег и в бинокль разглядел, что духи идут по тому маршруту, который он мысленно для них проложил. Он зло ухмыльнулся и чуть-чуть сполз вниз, чтобы какой-нибудь глазастый душара не засек его. Капитан закурил и расслабился, можно было не торопиться и отдохнуть перед большим броском наперерез убийцам его группы.

Увидев, как духи скрылись за другой горушкой, Воцанюк ринулся вниз, широко ставя ноги, изредка соскальзывая на камнях. Так он бежал долго, чтобы успеть до другого, выбранного им укрытия, пока духи не начали подъем на скальную гряду. Он успел и даже смог уже отдышаться, когда на фоне блеклого неба появилась голова первого душмана. Теперь у него для отдыха был почти час. Капитан решил проверить карманы и освободиться от лишних, теперь уже никогда не понадобятся ему вещей. В нагрудном кармане ополовиненная пачка «Родопи» и зажигалка. Из внутреннего кармана вынул конверт, завернутый в целлофан, с надписью: в/ч п/п, Воцанюку Андрею Павловичу. В конверте — давнишнее последнее письмо от жены брата, и еще была маленькая записка Николая...

Гибель Николая, своего брата-близнеца, Воцанюк принял как неизбежность, которую ждал изо дня в день, из месяца в месяц. Он сам летел на место гибели батальона, и сам же нашел тело брата, страшно изуродованное выстрелами в грудь. Под

солнцем тела убитых раздулись до огромных размеров. Кожа плотно обтянула лица и руки солдат. О погрузке таких тел в «вертушки» не могло быть и речи, и была дана команда повторно расстрелять погибших.

Уже потом, в вертолете, Вощанюк нашел в кармане брюк брата записку, в ней Коля писал, что сына хочет назвать Серёжей. В нагрудном кармане куртки Андрей нашел еще одну такую же записку на случай, если тело разорвет пополам. Обе записки были залиты давнишней кровью. Андрей отмыл обе бумажки и одну отправил жене брата...

Вощанюк сжег конверт на огне зажигалки, потом снял с руки часы, положил их на камень и затылком автомата ударил по ним. Хрустальный «омаковский» циферблат тоненько хрустнул. Андрей носком ботинка отбросил часы от себя. Все. Теперь уже прошлого для него нет, есть только короткое будущее. Ни пить, ни есть ему не хотелось, он просто пытался отдохнуть, но расслабиться не давала лихорадка нетерпения близкой и желаемой мести, которую он сдерживал до времени.

Андрей передвигался уже впереди духов, срезав путь через большую скалу, разбив в кровь пальцы рук и колени, но зато теперь духи были позади него, и он мог видеть их в любой момент. День уже близился к вечеру, чего с таким нетерпением ждал капитан. Он пожевал галеты, но не оттого, что хотел есть, а чтобы время быстрее прошло. Потом перебрался на другое место, где выкурил сигарету. Духи неумолимо двигались к тому месту, которое, по плану Андрея, должно было стать для них местом расплаты — могилой.

Солнце начало быстро сползать к горам, духи остановились, сбросили с себя поклажу и расселись на камнях. Андрей затаился совсем близко от них за большим камнем. Вскоре один из душманов вышел на каменистую площадку, повернулся лицом на восток и протяжно затянул привычную калему:

— Ля Иллях иль Альляху ва Мухаммед расули Аллах — Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухамед пророк его.

Остальные люди вынимали коврики и большие платки, расстилали их на земле и, встав на колени, покорно склоняли головы перед своим Богом. Мулла продолжал выкрикивать слова молитвы, а остальные в нужный момент нестройным хором вторили ему:

— Аллах акбар — Аллах велик.

Андрей, не таясь, вышел из-за камней, он знал, что правоверного очень трудно оторвать от молитвы-намаза. Перед ним были все двадцать духов, все те, кто уничтожил его группу, безжалостно порубив ее, не сделав ни единого выстрела. Андрей стоял над согнутыми спинами, и чувство мести, весь день подавляемое им, взяло наконец вверх — подствольник автомата коротко рявкнул, послав гранату в середину молящихся. Взрыв разнес чье-то тело, осколками наспигивывая ближних. Духи ошалело вскакивали с колен, а Андрей косил их, быстро меняя магазины, и швырял гранаты. Капитан стоял открыто, чуть согнув в коленях широко расставленные ноги и решетил ненавистные фигуры в широких блеклых одеждах. Всего минута понадобилась для того, чтобы уни-

чтожить этих ненавистных ему людей. Андрей заорал от утоленной жажды мести, стоял и смотрел на страшное дело своих рук, и возбуждение разом схлынуло.

Капитан устало сел на камень, положил автомат на колени и закурил. Краем глаза увидел, как один из духов, тот, который начал молитву, приподнялся и потянул за ремень автомат. Андрей не шевельнулся, глубоко затягивался даже тогда, когда дух навел ствол на него.

Сигарета, быстро набухая каплей тягучей крови, бессильно всхлипнула, выстрелив последней струйкой дыма, и погасла в помертвевших губах капитана. Пуля ударила Андрея прямо в переносицу, он ткнулся головой в еще горячий автомат и медленно сполз на чужую, враждебную землю Афганистана.

* * *

Незабываем до боли
Этот донецкий пейзаж:
Минами вспахано поле
И уничтожен блиндаж.
Был у берёзы старой
Насквозь прострелен ствол,
Отполыхал пожаром
Сад, что вчера лишь цвёл.

И не поспорить с судьбою,
Время — песок в горсти.
Выйти смогли из боя
Семеро из тридцати.
Небо чернело от пыли,
Солнца померк фонарь...
Молча потом курили,
С дымом глотая гарь.

Роща, овраг, болото
И непролазная грязь.
Вскоре наладил кто-то
Спутниковую связь.
Живы мы, живы, братцы!
И не бросаем своих.
Значит, мы будем драться —
Каждый за четверых!



**Екатерина
ПОЛУМИСКОВА**

Поэзия



РУССКИЙ ЛЕС

Полон тайн русский лес колдовской.
По неписаным древним законам
здесь соседствуют песня и вой,
ликование птичье — со стоном,
радость жизни — с извечной тоской.

В хороводах, забавах, игре
молодые дубы и берёзки
спорят с ветром, шумят на горе,
кто в нарядах цветных, кто — в неброских...
Свет и тень прочертили полосы
на живом изумрудном ковре.

Бродит солнце под сенью дубрав
и рисует свои акварели
на цветных гобеленах из трав,
там, где вечно угрюмые ели
до небес дотянуться сумели.
А кто выше в лесу — тот и прав!

Не тревожит их лешего крик
и кикиморы плачи да охи.
Где кустарник к стволам их приник
в покаянном, молитвенном вздохе,
бьёт холодный священный родник.

Этот лес мне пройти бы насквозь,
до заветной добраться поляны,
чтоб увидеть хоть раз довелось,
как в серебряной дымке тумана
наше прошлое с будущим странно
и незыблемо переплелось.

НЕОБЫЧНЫЙ ПОЕДИНОК

Орёл-курганник над херсонской степью
парил, расправив крылья в вышине,
обозревая всё великолепие
долины, расцветавшей по весне.

Напоминал нам побратим крылатый
про Град Креста и склоны Машука,
про Терека крутые перекааты,
когда взмывал в седые облака.

Небесный страж!
«Кто ищет — тот обрящет».
На голову врага — хоть камнем вниз.
Но саранчой, назойливо жужжащей,
вдруг беспилотник над землёй завис.

Дитя чужих, нездешних технологий,
на местности освоившись вполне,
кружил, как сонный слепень, у дороги
и к прошлогодней припадал стерне.

Степь широка...
Лишь ветер здесь охранник
для каждого оврага и куста.
В дозоре воин — тот орёл-курганник,
а в помощь — зоркий глаз и высота.

Недолог поединок птичий с дроном.
в стремительном пике — удар, захват.
И вот по всем физическим законам
разорван в клочья вражий аппарат.

И вновь туда, в зенит,
к свинцовым тучам,
атаковать врага готов опять...
Казалось, птах с рождения обучен
Суворовской «Науке побеждать»!

ПРЕРЕБЕЖЧИКАМ

Зачем же говорить, что всё в порядке,
что «заграница» вновь поддержит нас!
Что лебеда, растущая на грядке,
и есть наш стратегический запас.
И прихватив с собою миллионы,
оставить Русь на произвол судьбы...
А в небе так и кружатся вороны
над кровлей покосившейся избы.

Мечтали взять вы голыми руками
всё, что до вас бы не посмели взять,
что сберегали прадеды веками —
честь, совесть да земли родимой пядь!
При этом всё клялись, что вы — не боги,
что сами от беды на волосок,
а на weekend — в альпийские берлоги
иль на Канары, головой в песок.

И каждому из вас теперь, как зайцу,
по сторонам метаться, путать след
и быть не гражданином, а скитальцем,
кто Родину продал за горсть монет.
Ступайте прочь! Без вас мы всё осилим,
хоть за века устали от разрух.
Там, за морями, нет другой России,
чтоб выбирать — которая из двух!

КАК ТОЛЬКО...

Как только будет можно, я приеду
в наш городок, затерянный в лесах.
И мы с тобой Туманность Андромеды
отыщем в предрассветных небесах.

Найдём её по пламенному следу
летающих звёзд у Млечного Моста.
И я поверю, что назло всем бедам
наш мир спасёт Любовь и Красота.

И что не дым — туман в бору сосновом
затянет в омут всю печаль ко дну.
И невозможно ни единым словом
перекричать вот эту тишину.

Как только будет можно, я отвечу
на все вопросы и на все звонки,
и будет бесконечен каждый вечер
под шепот ив на берегу реки.

А нынче — бой...

И шквал огня!

И мины
пространство рвут на части в пыль и прах.
И знак молчанья, Ангелом хранимый,
с безмолвною молитвой на устах.

* * *

Пейзаж за окнами уныл
в дождливый вечер.
Тот летний день, что сердцу мил,
увы, не вечен.
У горизонта птичий клин
теряет голос.
Лишь полон силы георгин
и гладиолус.
И словно знаешь наперёд —
уже не долог
ночного бражника полёт
в закатный сполох,
что пригубил в миру людском
над захолустьем
туман, как кофе с молоком,
как горечь с грустью.

* * *

Вечный Огонь, как на скифском кургане,
и рукояти мечей, как кресты.
Были сколоты... А нынче — цыгане
царствуют здесь от Карпат до Читы.

Пламя костров, а по кругу — кибитки.
Плачет гитара, и глаз не сомкнуть.
Древних созвездий небесные слитки
Млечный в ночи обозначили Путь.

Ржавые гильзы, истлевшие латы —
хватит железа коней подковать.

И на монистах из скифского злата —
звёздная пыль да столетий печать.

Карты цыганские скажут, что было,
им доверяли во все времена.
Праху отцов, как и братским могилам,
будет ещё поклоняться страна.

Краденый конь, да чужая невеста,
пан иль пропал, или пуля в висок!
Ночь напролёт от Байкала до Бреста
катятся звёзды в горячий песок.

НОСТАЛЬГИЯ ПО ВЕСНЕ

Вот взметнулись в небо стаи с колоколен,
И коснулось солнце сонных куполов.
Этот мир, наверно, безнадежно болен
И почти не слышит звон колоколов.
И качнулись ветки облетевших клёнов,
Разрывая в клочья утренний туман
И стальную сетку туч заговорённых...
Этот мир, наверно, беспробудно пьян.
Гонит мысли ветер. Нет конца похмелью,
А на сердце снова мокрый снег с дождём.
И опять столетье кончится метелью —
«Светопреставленья» мы пока не ждём.
Нам не спутать только б звяканье бокала
С колокольным звоном плачущей души,
Что среди осколков всё звезду искала
И звала к иконам: «Верь да не греши!..»

Жарится картошка, закипает чайник,
И настольной лампы чуть мерцает свет.

Только за окошком жизнь течёт случайно,
А задёрнешь шторы — жизни вовсе нет.
Вечер на Крещение окунётся в прорубь
И зажжёт над миром звёзды-фонари.
И для нас прощенье одичавший голубь
Принесёт на крыльях ледяной зари.
Пять квадратов Рая, да и мы — другие.
И на тесной кухне думается мне:
Все мы прозябаем в вечной летаргии
Или в ностальгии вечной — по весне.
А весна синицей в форточку ворвётся,
Только не найдётся подходящих слов.
И елей с сосулечка каплями прольётся,
И коснётся солнце сонных куполов.

МОЗАИКА

ГОЛУБАЯ ВЕГА

В давние времена, в далёком, но памятном отрочестве моём, попал мне в руки томик стихов Владимира Луговского, ныне забытого поэта, автора агиток в духе Маяковского. Многие стихи меня не тронули, но в некоторых из них я остро ощутил горячие ароматы пустыни, увидел образы непридуманных людей, трудолюбивых и бесстрашных. И на всю жизнь врезалась в память строка из стихотворения «Хельманжоу»:

*Звезда голубая —
прекрасная Вега.*

Я часто повторял эту строчку душными летними ночами, когда в комнате нечем было дышать и я устраивался на ночлег во дворе на соломе. И тогда взору моему открывалась бездна ночного неба, где среди звёздной россыпи прямо над моей головой чистым светом сияла в созвездии Лиры яркая голубая звезда.



**Иван
АКСЁНОВ**

Проза



Иногда медленно проплывал по небу, сверкая огнями и жужжа тяжёлым жуком, самолёт. Я провожал его взглядом, пока он не скрывался за крышей дома, а потом глаза мои опять искали похожее на зигзаг созвездие Лиры, где тихо мерцала моя голубая звезда.

В такие безлунные звёздные ночи так сладко мечталось о будущем, таком далёком и туманном. Думал я о том, что ждёт в жизни меня, худенького крестьянского мальчика с выгоревшими до белизны вихрами, беззащитного перед нелёгкими жизненными испытаниями и людской несправедливостью, с которой мне к тому времени уже не раз пришлось столкнуться. Кем стану я? Душу томило смутное желание бороздить моря и океаны, как это делали Магеллан и Кук, побывать в далёких экзотических странах, о которых я знал из книг. Но я понимал, что для этого нужно крепкое здоровье, а я, жалкое дитя войны и голодных лет, о нём даже мечтать не смел.

И всё-таки один лишь вид голубой Веги внушал мне надежду, что счастье не обойдёт меня стороной. И пусть мечтам моим не суждено было осуществиться, я благодарен им, потому что они скрашивали мою серую, почти лишённую радостей жизнь.

Много десятков лет минуло с той поры, но звёздное небо по-прежнему волнует меня, и стоит мне ночью выйти во двор, как я невольно устремляю взгляд вверх, ища знакомые созвездия и среди них созвездие Лиры, увенчанное голубым сверкающим кристаллом моей любимой звезды. И в памяти сразу всплывают слова поэта:

Звезда голубая — прекрасная Вега!

ЛЕТНИЙ ЛИВЕНЬ

Из тёмных далёких глубин полузабытого раннего детства время от времени всплывают какие-то лица, эпизоды, странные детские страхи.

Вспоминается знойный июльский день, ослепительно-яркий, с оглушительным стрекотом кузнечиков в тёмных горячих травах, с сонным жужжанием мух, сладковато-душным запахом лебеды и с небом бездонно-синим.

Мне пять лет, и больше всего в жизни боюсь я грозы.

Я стою в маленьких тёмных сенях и всматриваюсь в перевернутый сельский пейзаж на белой стене: хату соседей, зелёные кроны акаций, крошечные пятна бродящих по двору зноем разморенных кур. Тогда я ещё не знал, что такое камера-обскура, но уже понимал, что это изображение проникает в сени сквозь маленькое отверстие в двери, только почему оно перевернуто вверх ногами, никак понять не мог.

Но вскоре тучи закрыли солнце, налетел, словно с цепи сорвавшись, ветер, и пейзаж этот потускнел, стал едва различим. А потом разразилась гроза. Я почему-то был дома один, и панический ужас овладел мною. Хотелось спрятать голову под подушку, чтобы ничего не видеть и не слышать, но и оторваться от этого страшного и величественного зрелища не было сил; я сел у окна и стал смотреть на буйство стихий с каким-то чуть ли не суевренным страхом. Взгляд невозможно было отвести от клубящихся, мутной пене подобно, иссинячёрных туч, от слепящих глаза молний, похожих

на перевёрнутые огненные деревья, на мгновение вырастающие в небе, вонзая свои извилистые белые, розовые, синие ветви в землю; на косые струи воды, низвергающиеся с небес; на растрёпанные ветром акации, словно готовые в любой миг оторваться от корней и взлететь вверх.

Гром взрывал небеса и рушил их на размокшую дорогу, на почерневшие от дождя соломенные крыши, на прибитую к земле бичами струй траву. От его ударов испуганно дрожали стёкла окон, стаканы на полке, вздрагивал подо мною земляной пол хаты.

Ветер переменял направление, и заструились по стёклам потоки воды, зелёные от листвы и трав, и мелкие градины зазвенели в окнах, но ливень уже истощил свою силу, по лужам поплыли крупные пузыри, и вдруг сквозь мутную пелену туч прорвалось жёлтое предвечернее солнце — и две радуги засветились в восточной стороне неба, две празднично-яркие арки.

Дождь как-то сразу оборвался, ветер стих, и от прежнего ужаса осталось одно лишь легкое волнение, а потом незаметно схлынуло и оно. И как же радостно было бегать с друзьями босиком по прозрачной тёплой воде, широкими ручьями стекающей по косогору, шевеля острые листья пырея и коврики спорыша! Пахло мокрой землёй и чем-то ещё, удивительно свежим, прохладой льющим в лёгкие. Только через много лет узнал я, что это запах послегрозового озона.

А от страха перед грозой избавился я уже годам к шести-семи.

ДЕТСКИЕ СТРАХИ

Многого мы боимся в детские годы.

Мир кажется нам непонятным и сложным, и некому разъяснить нам причины природных явлений и тем избавить нас от страха перед ними.

Многое страшило в детстве и меня, и однажды мама повела меня к «бабке», как называли тогда знахарок, лечивших людей. Говорили, будто эта женщина хорошо умеет «испуг выливать». Я не понимал значения этих слов и думал, что она будет выливать из меня что-то жидкое, что называется «испугом».

Шёл я к знахарке с тайным страхом в душе: она представлялась мне костлявой и скрюченной, подобно Бабе-Яге из страшных сказок. Но, к моему удивлению, «бабка» оказалась самой обыкновенной пожилой женщиной, с круглым добрым лицом.

Жила она на самом краю села в маленькой выбеленной мелом хатёнке. В её единственной комнате на полках стояли разнокалиберные глиняные горшки и кувшины, а на вбитых в саманные стены гвоздях висели пучки разных трав, от чего в помещении стоял какой-то сложный дурмящий аромат.

Узнав, что мама привела меня к ней лечиться от моих страхов, знахарка не стала больше ни о чем спрашивать ни меня, ни мою мать, а сразу приступила к лечению. Она принесла жестяную миску с водой, кусок воска и спички. Растопленный воск капал в воду, образуя на дне миски какие-то сложные узоры.

— Гляди, Параня, — сказала женщина, закончив эту процедуру. — Тут всё видать, что твоего мальчика

пужае. Вот молонья, вот муха какая-сь, а тут, видишь, козюля и веретеничка.

«Козюлей» у нас называли гадюку, а «веретеничкой» — ящерицу.

— Погляди и ты, Ваня, — сказала мама.

Не знаю, были ли там на самом деле изображения, о которых говорила знахарка, или это её внушение так подействовало на меня, но я и в самом деле увидел в миске и молнию, и осу, и гадюку с ящерицей.

— Ты, Ваня, их больше не пужайся, — сказала женщина. — Они не страшные.

И в следующий наш приход она опять плавила воск и лила его в воду.

— Вишь, теперя они ещё мельче стали, — сказала знахарка. — Как совсем пропадут, так ты их бояться перестанешь.

И однажды наступил день, когда поверхность воска стала совсем гладкой, и я перестал бояться и грозы, и ос, и ящериц. Только гадюк по-прежнему остерегался. Такова была сила внушения этой неграмотной крестьянки.

Интересно то, что впоследствии, когда я стал взрослым, ни одному врачу не удалось загипнотизировать меня. Видно, мой скептицизм мешал этому.

ВРЕМЯ БЕЗБОЖНИКОВ

Лет пяти отроду заявил я однажды самым безапелляционным тоном:

— Бога нет!

— А ты откуда знаешь? — возмутилась мама.

— Знаю! Кольке и Таське учительница в школе сказала!

Коля и Тася — мои старшие брат и сестра. Их авторитет был для меня непререкаем.

Партия лепила из нас с самого раннего детства убеждённых безбожников и материалистов. Слово «Бог» в стране было под запретом, употреблять его можно было только в ругательствах. Только с началом войны до полусмерти перетрусивший вождь, понявший вдруг, что Бог всё-таки не он, как ему думалось раньше, а кто-то другой, вспомнил о том, что в молодости он готовился стать священником, и ослабил туго затянутую на шее церкви петлю.

Моя мама рассказывала, что девочкой она пела дискантом в сельском хоре, организованном одним местным энтузиастом. В песне «Выхожу один я на дорогу» коммунистическая цензура заменила строку «Ночь тиха, пустыня внемлет Богу» словами «Ночь тиха, в пустыне дремлет воздух». В те времена ничего удивительного в этом не было: тогдашние идеологи по малограмотности своей верили, что они вправе улучшать идейно отсталых классиков. Между прочим, пел тот хор и пушкинского «Узника» («Сижу за решёткой в темнице сырой»), добавив к стихотворению две идейно выдержанные строки:

Да здравствует Ленин, всемирный герой!

Мы с ним сбросим свору — всех с тронов долой!

Правда, звучало это несколько глуповато: ну кто же желает здоровья покойнику? Однако Ленин занял место упразднённого Бога, а боги, как известно, бессмертны.

Удивляет то, с какой лёгкостью так называемая «Святая Русь» отреклась от своей святости и в корот-

кое время стала безбожной — и не просто безбожной, а богоборческой страной: те, кто недавно в молитвенном экстазе готов был лоб об пол расшибить, теперь с глумливым смехом и матерщиной взрывали храмы и жгли бесценные иконы, а бронзовые колокола отправляли на переплавку, чтобы отлить памятники своим кровавым вождям. Впрочем, свято пусто, как известно, не бывает, и большевики, отменив православную веру, заменили её языческой: было введено поклонение покойному богу, вроде древнегреческого Кроноса, его место занял бог-громовержец, подобный Зевсу; поклонялись и более мелким божкам и боженятам; храмы были заменены «красными уголками», где проводились торжественные богослужения в честь новых богов.

Помню издававшийся в тридцатые годы прошлого века тонкий журнал «Безбожник» Сейчас он прослыл бы самым что ни на есть «жёлтым» изданием, но в те времена считался очень важным «проводником идей партии в массы». Разнузданное хамство хлестало с его страниц через край. И сейчас помню два четверостишия из опуса, состряпанного каким-то эпигоном Демьяна Бедного:

*Как на клиросе дьячок
Запевал, бывало,
Сразу баба в уголке
Плакать начинала.*

*Заприметил это дьяк,
К ней подходит чинно:
— Что ты плачешь, бабка, так?
Что тут за причина?*

Служитель церкви был уверен, что именно его пение привело старуху в умиление и вызвало её слёзы. Однако оказалось, что плакала она совсем по другой причине — просто голос дьячка напомнил ей бляенье её козла, недавно задранного волками.

Ну откуда было знать доморощенному стихотворцу, не обременённому образованием, но открывшему в себе поэтический дар, что «дьяк» и «дьячок» не одно и то же, что пел в церкви дьякон, а дьяком в допетровской Руси назывались правители областей и другие высокопоставленные чиновники.

Не знаю почему, но меня, воспитанного в атеизме, коробили книги «Библия для верующих и неверующих» Емельяна Ярославского и «Забавное евангелие» Лео Таксиля, написанные в издевательском, ёрническом стиле. Мне казалось, что атеистическую пропаганду надо вести деликатно, не оскорбляя чувств верующих. Впрочем, знал я и то, что истинно верующего безбожником не сделаешь никакими уговорами.

Когда я работал учителем, была у нас в школе одна воинствующая атеистка. Она руководила школьной партийной организацией, а потому считала себя имеющей полное право учить всех педагогов уму-разуму, несмотря на полное его отсутствие у неё самой. Она требовала немедленного усиления борьбы с «религиозным дурманом» и в качестве образца для подражания выставляла себя.

— У меня в классе, — заявила она однажды на заседании педагогического совета, — была одна

девочка, ярая баптистка. Так вот, достаточно мне было один раз строго поговорить с ней — и она заявила, что больше в бога не верит и не будет верить никогда в жизни!

Вот как работать надо!

Слова эти вызвали усмешки: все понимали, что сказать можно что угодно, лишь бы от такой, как она, зануды поскорее откреститься.

Но вот что интересно: эта высокоидейная особа, твердокаменная искоренительница «опиума для народа», выйдя на пенсию, обнаружила в себе вдруг глубоко верующую душу, хотя, по правде сказать, окружающие ничего похожего на душу в ней никогда не замечали. Известно было только, что она обладает удивительной способностью мимикрировать в любой среде и прилипнуть к тем, кто обладал хоть какой-то властью над судьбами или душами людей. Она и к дьяволу самому примазалась бы, попадись он ей на её извилистом пути.

Превратившись в неофитку православного учения, она стала не меньшей фанатичкой, чем была тогда, когда боролась за искоренение этого самого учения, но это совсем не означало, что она из Савла превратилась в Павла.

Заняв какую-то мелкую должностишку при храме, она стала с аппетитом каннибалапоедом есть несчастных прихожанок. Те долго с христианским смирением выносили её людоедские выходки, однако настал день, когда их долготерпение лопнуло и они обратились с жалобой к епископу. В результате покровительствовавший ей священник лишился прихода, а её изгнали из храма «яко беса».

Не знаю, где она теперь; вполне возможно, что вернулась в ложе атеизма или влилась в какую-нибудь секту.

Крестить детей при советской власти категорически запрещалось, причём не только членам партии. Вместо крестин введены были так называемые «октябрины», названные так в честь Октябрьской революции. Ещё этот обряд называли «звездинами», но это слово как-то не прижилось, по-видимому, потому, что «вызвездить» означало отматерить, а «звездануть» можно было только чем-то увесистым по голове.

«Октябрили» вскоре после появления на свет и меня. В чем заключался этот обряд, я, разумеется, не помню, потому что новорождённые, как известно, большую часть суток спят, пробуждаясь лишь для того, чтобы поупражнять голосовые связки да порадовать родителей напоминанием о своём существовании.

Однако «нехристом» я оставался не так долго. Мне было лет семь, когда священник, приехавший из райцентра, довольно бесцеремонно окунул мою физиономию в лоханку с водой и что-то проворчал надо мною. Потом он для чего-то смазал мне лоб, ладони и ступни каким-то маслом, будто я и не человек вовсе, а какой-нибудь бездушный механизм.

И пошёл я домой уже не «нехристом», а полноценным «рабом Божьим», что, впрочем, не помешало мне остаться закоренелым материалистом и даже в своё время заниматься атеистической пропагандой.

ДОРОГА К РОДНОМУ ДОМУ

С юных лет я люблю дорогу.

Размеренный перестук вагонных колёс; мельканье за окном телеграфных столбов с проводами, то взлетающими вверх, то падающими вниз; во тьме плывущие назад огни станиц, и сёл, и хуторов; а днём — печальные поля под снежным покрывалом или жёлтое жнивье, разделённое словно под линейку проведёнными тёмными линиями лесополос — всё это навеки запало мне в душу, чтобы время от времени возникать в самых светлых моих снах.

Просёлочные дороги, проторённые скрипучими колёсами телег, и глинистые шоссе с глубокими кюветами были одинаково пыльны летом и непролазным месивом становились осенью и весной.

В послевоенные годы автобусов на сельских дорогах не было, и мне, студенту, приходилось ездить домой на каникулы попутным транспортом. Иногда между железнодорожной станцией и нашим районным центром ходило грузотакси. Это был крытый брезентом грузовик «ГАЗ-51», не очень удачная копия американского «студебеккера». А в распутицу приходилось долго сидеть на станции, пока не подворачивался какой-нибудь трактор или автомобиль с двумя ведущими мостами. А уж от райцентра до родного села приходилось добираться пешком в любую погоду.

Странное чувство испытываешь, затерянный в размокшей от дождей степи. Мёртвая тишина стоит вокруг. Хоть бы прогудел за низкими тучами самолёт, или каркнула, пролетая, ворона, или ветер свистнул в блеклых стеблях донника! Ниче-

го не слышно, ты один в целом свете, вокруг тебя распаханые чёрные поля, влажный серый бурьян да поросшие травой скифские курганы.

Однажды под вечер мы с Петей Романенко, моим товарищем по комнате в общежитии и земляком (он был из села Красногвардейского) поехали на автомобиле его дяди, чтобы провести ноябрьские праздники дома. Малолитражка «Москвич-400», прозванный в народе «ишачком», бойко катила по дороге, и мы уже предвкушали вкусный ужин в доме Петиных родителей, где мне предстояло заночевать, чтобы наутро отправиться в Привольное, как вдруг, не отъехав и двадцати километров от Ставрополя, это чудо отечественной техники заупрямилось, отказавшись двигаться дальше. Петя решил заночевать с дядей в машине, а я вышел на дорогу «голосовать». Уже сгустились сумерки, стал накрапывать дождь. Я остановил грузовик, который шёл в Красногвардейское. Дождь хлестал уже вовсю, дорогу вскоре развезло, и в самом центре села Преградного грузовик безнадежно застрял в обширной луже. Напрасно водитель пытался выбраться из неё. Наконец он заглушил мотор, выругался и сказал:

— Вот чума-холера! Придётся до утра в этом болоте куковать!

На моё счастье, вскоре появился другой попутный грузовик, и к полуночи я добрался до районного центра. К родственнице, жившей там, я не пошёл, помня, какую встречу устроила она однажды нам с моей старшей сестрой Тасей: с недовольной миной швырнула на пол какой-то облезлый кожанок и буркнула:

— Ложитесь!

Мы были голодны, потому что с самого утра добирались сюда с железнодорожной станции, но она даже чаю нам не предложила.

К счастью, на этот раз в Доме колхозника, как назывались в те времена сельские гостиницы, нашлись свободные места, и я переночевал там, а рано утром, голодный как волк, пешком отправился в Привольное. Идти надо было около двадцати километров, но не успел я пройти и трети дороги, как у меня наполовину оторвалась подошва правого башмака, хотя я и старался идти по целине, где грязи было меньше, чем на глинистом шоссе.

Я сел на свой фанерный обтянутый дерматином чемоданчик и стал думать, что делать дальше. На этот раз мне крупно повезло: примерно через полчаса со стороны села Красногвардейского показалась подвода. Я поднял руку.

— Тпру! — крикнул возница, натягивая вожжи. — Тебе куда, парень? В Привольное? Тогда садись, я как раз туда еду.

Я влез на подводу, снял башмак и мокрый носок и засунул ноги под солому. Мы разговорились.

— Дак ты Паши Аксёновой сынок, значит, — сказал возница. — Я семью вашу хорошо знаю и отца твоего помню. Хороший был человек. Жалко, что его на войне убили!

За разговором время прошло незаметно. Часа через два мы были уже в Привольном. Мне так хотелось отблагодарить возницу, но у меня в кармане было только пять рублей. Именно столько стоили тогда сто граммов водки, и я предложил заехать в пивную. Выпив, он вместо закуски по-

нюхал замасленный рукав стёганки и сказал довольно:

— Вот спасибо! А теперя поехали, до дому тебя доставлю, не скакать же тебе на одной ноге.

Сколько раз приходилось мне испытывать подобные приключения! И вот что интересно: идя шесть — семь часов по степи в полном одиночестве, я никого не боялся — ни злых людей, ни волков.

Дорога всегда оказывала на меня благотворное воздействие. Позже, когда стали одолевать меня болезни, не раз пускался я в далёкий путь с высоким кровяным давлением и с болью в сердце и обнаруживал, что, стоило мне проехать несколько десятков километров, как мне становилось легче, а к месту моего назначения я приезжал уже почти здоровым.

МУТНЫЕ ВОДЫ

Рассказ

1

Налитый оранжевым огнём шар солнца сполз уже к самой линии горизонта, вызолотив холмистую даль в западной стороне, когда автобус застрял — и, похоже, надолго в пробке у поста ГАИ. Миронов глянул вперёд: там в два ряда толпились разноцветные горбы десятков машин. По-видимому, шла проверка документов.

Это была уже третья задержка в пути, так что священник давно уже ждёт его на автовокзале.

А всё из-за этих проклятых террористов, чёрт бы их побрал!

Наконец в салон вошёл хмурый сержант с автоматом на плече и сказал:

— Граждане, предъявите документы!

Вопреки опасениям Миронова, проверка паспортов не заняла много времени; сержант устало козырнул, выходя, и автобус поехал к автовокзалу.

Несмотря на то, что отец Михаил одет был не в рясу, а в синие тренировочные штаны и яркую клетчатую рубашу, Миронов, никогда его раньше не видевший, сразу узнал в нём священника по характерной для многих немолодых служителей церкви осанистой фигуре, гриве рыжих волос и густой бороде.

Увидев Миронова, нагружённого чемоданом, рюкзаком и большим этюдником, священник быстрыми шагами направился к нему.

— Здравствуйтесь, здравствуйтесь, дорогой Андрей Николаевич! — сказал он, пожимая ему руку широкой ладонью, — Слава Богу, приехали наконец! А то я уже не на шутку встревожился: не случилось ли аварии. Давайте ваш чемодан. Вон моя машина.

И он указал в сторону зелёных «Жигулей», стоявших поодаль.

Машина долго петляла по улицам, и Миронов внимательно вглядывался в проплывавшие мимо пейзажи.

Это был маленький невзрачный городишко, который всего каких-то три десятка лет назад был селом и до сих пор сохранил деревенский облик: саманные хаты, крытые позеленевшей от лишайников черепицей, какие-то одноликие приземистые домики из красного и белого кирпича. Правда,

на окраине, вблизи автовокзала, недавно построили с десятков пятиэтажек. Асфальтовые и гравийные дороги зияли выбоинами. Предприимчивые обыватели, успевшие хорошенько погреть руки в смутную пору безудержного грабежа, скромно именуемого приватизацией, прикарманив солидные запасы государственного или колхозного добра, понастроили себе громадных и безвкусных особняков, окружив их кирпичными или ажурными железными оградами, проложив бетонные бордюры вокруг зелёных стриженных газонов и роскошных клумб, разбитых на улице, перед заборами. Город тонул в волнах густой зелени, длинные тени от домов и деревьев тянулись через дорогу.

— Думаю, матушка уже вовсю волнуется, что ужин остынет, — сказал священник, — Она у меня кулинар отменный, скоро сами в этом убедитесь.

Ужин и в самом деле получился превосходный.

— Скажите, отец Михаил, — спросил Миронов, когда они уже пили чай, — а почему ваш выбор пал именно на меня? Я знаю, что иконописцами издавна были монахи, причём перед началом работы положено было долго поститься, грехи замаливать, Я же обыкновенный художник, каких много, и грехов у меня — хоть отбавляй.

— Мне вас владыка рекомендовал. Очень уж ему росписи ваши понравились — в церкви святого Николая в селе Никольском. Он там на освящении храма был и с вами беседовал. Вы показались ему человеком добрым, неиспорченным.

— Какое там! — возразил Миронов. — Я ведь воевал, а не Богу молился. А на войне, как вам известно, убивать приходится.

— Ничего не поделаешь, — сказал отец Михаил, — война есть война, У неё свои законы. Не убьёшь ты — убьют тебя. Так что не терзайтесь по этому поводу. Вы выполняли свой воинский долг, а это не грех, а святое дело.

После ужина и долгого разговора, около одиннадцати часов ночи священник отвёл Миронова в домик, где ему предстояло жить.

— Вот вам ключ, — сказал он. — Мешать вам здесь никто не станет. А столоваться у нас с матушкой будете. Бесплатно, разумеется.

Он пожелал Миронову спокойной ночи и ушёл к себе.

Спать не хотелось. Андрей поставил в угол этюдник, достал из чемодана и разложил в шкафу бритву, зубную щётку и пасту, мыло, положил на стол папку с эскизами. Потом открыл окно и долго сидел в темноте, дымя сигаретой и прислушиваясь к призрачным замирающим звукам майской ночи: к дальнему гулу машин, сонному собачьему лаю, коротким вскрикам совы-сплюшки, настойчиво окликающей кого-то в густом сумраке.

Ночь, тёплая весенняя ночь легла на шифер крыш, на округлые кроны деревьев, на пыльный асфальт дороги; одно за другим гасли разноцветные окна в домах напротив; и только звёзды робкими светлячками трепетали на чёрном бархате неба.

Тихий и уютный городок, за пределами которого расстилаются с одной стороны бескрайние просторы погружённых во тьму пшеничных полей, а с другой стороны — обширный лес.

Сюда, в этот тихий мирок, где, кажется, никогда ничего не происходит и происходить не может, где

людей не терзают страсти больших городов, Миронов приехал в надежде забыться, залечь на дно, укрывшись от неотвязных призраков минувших лет, от беспрестанно точащей душу печали. Может быть, новая обстановка, новые люди, интересная работа, в которую можно погрузиться с головой, отвлекут от безрадостных мыслей, смягчат горечь тяготящих ум и сердце бесчестных обманов, вероломных измен, пережитых им, утолят, наконец, боль невозвратимых утрат.

Но снова и снова память возвращает его в тот яркий солнечный день с пухлыми белыми облаками на глубокой синеве южного неба, с лёгким ветерком, ласкающим лицо, в день, когда он пережил одно из самых тяжёлых, самых страшных потрясений.

«Не надо терзаться», — сказал отец Михаил. Если бы это было возможно! Как изгнать из памяти изуродованные взрывом тела товарищей, с которыми делился последним куском хлеба и последними патронами?

Какими были они: Сергей, Максим и Асхат — там, в мирной жизни, Андрей не знал, но здесь, на фронте, нашёл он в них людей надёжных, решительных и преданных друзей. И вот он разом лишился их всех, а сам уцелел совершенно случайно, только потому, что вышел по нужде за пределы бетонной ограды. Бомба, брошенная подростком в амбразуру блокпоста, убила их, а снаружи, у бетонной стены, лежал их убийца в изодранной пулями в кровавые клочья белой рубахе, и Андрей ещё ощущал недавнюю дрожь автомата в руках и видел струйку дыма, поднимающуюся из его дула.

Такое забыть невозможно. Остались в памяти мучительные дни депрессии, подавившей все его чувства. А потом новые беды свалились на него — тяжёлое ранение и измена жены, едва не стоившие ему жизни.

И сейчас, вспомнив всё это, он сжал голову руками и застонал, как от боли.

Где-то во мраке прозвучал отдалённый крик петуха, ему откликнулся другой петух, третий, их тревожные голоса призрачно звучали в ночи, навевая ещё большую печаль.

Андрей разделся и лёг в прохладную постель, но ещё долго лежал без сна, перебирая в памяти горькие минуты своей жизни.

2

Всю неделю готовил он картоны для росписи купола и сводов. Ушло на это и воскресенье, хотя священник убеждал его по выходным отдыхать. Службу отец Михаил проводил в одноэтажном доме, временно приспособленном под церковь.

В понедельник Андрей забрался на леса под самый купол и погрузился в работу.

Дни проходили в трудах, и все печали и заботы как-то сами собой отступили куда-то вдаль.

Тяжело было вечерами. Поужинав, Миронов шёл к себе — и на него тяжёлым бременем наваливалась тоска.

Жизнь не удалась — в этом надо честно себе признаться. В ней так мало радостей и так много неудач и печалей. Мучительно устал он от одиночества, от отсутствия в жизни дружбы и любви, душевного

спокойствия. Одна лишь работа, любимая живопись, спасает его от отчаяния, не даёт впасть в беспробудное пьянство, погубившее кое-кого из его школьных и институтских товарищей.

Чтобы отвлечься от безрадостных мыслей, по вечерам он ложился на диван и читал до полуночи или включал свой маленький транзисторный приёмник, однако его любимую классическую музыку передавали редко, зато поп-музыки, взвинчивающей ему нервы, в эфире было в избытке. Но особенно раздражал его своей нелепостью рэп — набалтывание дурным голосом каких-то бессмыслиц под дикий визг девиц-подпевал.

Ещё меньше хотелось слушать политиков, гвавших взахлёб, будто под их мудрым руководством жизнь в стране с каждым днём становится всё богаче и счастливее.

А стоило заснуть, как наваливались нелепые и жуткие кошмары. Редкая ночь обходилась без них. Начались они ещё в госпитале, и никакие снотворные, никакие микстуры не могли избавить от них. Поэтому каждое утро он встречал с облегчением: впереди был долгий день, заполненный работой.

В один из таких дней он познакомился с Ириной Сергеевной. Её привёл к нему отец Михаил.

— Это Ирина Сергеевна Барсова, учительница моей дочери, — представил он её. — Ей нужны портреты классиков для кабинета литературы. Сможете написать?

Миронов охотно согласился.

— Подрамники вам в школьной мастерской собьют по вашим чертежам, — сказал священник. — Лья-

ной холст у меня есть (я ведь сам понемногу живописью занимаюсь в свободное время). И мольберт у меня есть, и чемоданчик с красками я вам принесу.

Миронов обратился к учительнице:

— Когда мне можно будет в школу зайти, чтоб на месте размеры портретов определить?

Договорились встретиться на следующий день в это же время.

Когда он пришёл в школу, дверь кабинета литературы была приоткрыта, Ирина Сергеевна сидела за учительским столом и проверяла тетради. При первой встрече он как-то не обратил на неё внимания: обыкновенная женщина, не красавица, но сейчас внутри что-то дрогнуло, когда он близко увидел её глаза — темно-серые и загадочные, как вечерние сумерки.

Измерив пространство между стендами и потолком, где предполагалось разместить портреты, Миронов сказал, что чертёж будет готов уже завтра и он передаст его с кем-нибудь.

— Да вы не беспокойтесь, я сама вечером за ним зайду. Я живу за два квартала от церкви, так что мне это не составит труда.

Она пришла, когда солнце спустилось почти к самому горизонту. Миронов невольно залюбовался ею, так хороша была она в длинной юбке из лёгкой белой ткани и блузке того же цвета, туго облегавшей её ладный стан. Ей было уже где-то около тридцати, но от неё исходила поистине девичья свежесть — от розовых губ, не тронутых помадой, от плавного овала лица, от светло-русых волос, двумя прямыми потоками стекающих вдоль нежных матовых щёк.

— Чаю хотите? — спросил Миронов. — Только что заварил. Кстати, есть отличное варенье из вишен без косточек. Матушки Ксении работа.

Сели за стол. Андрей глаз не сводил со своей гостью. В каждом её движении сквозила удивительная грация.

«Почему это я решил, что она не красавица? — думал он. — Да она чудо как хороша!»

Ирина Сергеевна вела себя так непринуждённо, будто знакомы они были много лет, и Миронов почувствовал себя в её обществе раскованно, что с ним бывало редко, особенно в последние годы.

— Знаете, какое впечатление вы на подруг моих произвели? — спросила Ирина Сергеевна. — Вы, наверное, и не заметили, сколько женских глаз вас провожало, когда вы по школьному коридору шли. А всё дело в том, что наша учительница музыки Зоя Александровна (кстати, она в церковном хоре поёт и с матушкой дружит) уже на третий день после вашего приезда хвасталась в учительской: «Ой, девочки, кого я видела! К нашему батюшке молодой художник приехал. Бородка чёрная, волосы до плеч, красавец — ну ни дать ни взять цыган Миро из сериала про Кармелиту! Я у матушки спросила, не нашек ли он, она говорит: «Нет, мирянин, художник из края». Тут, конечно, учительницы наши давай Зою расспрашивать, сколько вам лет, ну и про всякое другое. А незамужних, конечно, интересовало, не женаты ли вы.

Андрей усмехнулся.

— Был женат, но так обжёгся, что на всю жизнь хватит!

Она вопросительно посмотрела на него.

— Удивляетесь, почему так говорю? Довольно банальная история, не я первый и не я последний, с кем подобное случается. Женился я ещё студентом — на однокурснице. Очень её любил. Окончили институт, неплохую работу нашли, квартиру сняли хорошую. И тут меня в армию забрали. А женщины только в сказках ждать готовы хоть двадцать лет, как Сольвейг или Пенелопа. Моей жене терпения и на один год не хватило. Я после тяжёлого ранения в госпитале лежал, чуть было ноги не лишился. Начал было уже выздоравливать — вдруг от неё письмо. «Прости, — пишет, — я полюбила другого, ухожу от тебя». Испугалась, что инвалидом стану, а ей нянчиться со мною придётся... Думал, не переживу такого потрясения. Опять раны открылись. Спасибо нашим врачам, не дали умереть. Такая тоска на меня навалилась, жить не хотелось. А однажды вдруг будто в мозгу что-то переключилось: «А стоит ли она того, чтобы так из-за неё убиваться? Это всё равно рано или поздно случилось бы, раз у неё такая натура предательская. Не умирать же мне, в самом деле, из-за этого! Лучших друзей на войне похоронил, надо и память о моём неудачном браке похоронить». Имущества у нас с ней почти никакого не было, детей тоже, так что делить нам было нечего.

Он взглянул на Ирину Сергеевну — в глазах у неё стояли слёзы.

«Ну вот, разоткровенничался, — с досадой подумал он. — Никогда никому не плакался в жилетку, а тут — как прорвало. Получается, будто на жалость бью. Разнюнился как сирота казанская!»

— И больше с ней не виделись? — спросила Ирина Сергеевна.

— Всё-таки один раз встретиться пришлось. На суде. Она на развод подала, ей надо было новый брак оформить.

— Как же она вела себя? Хоть капельку стыдно ей было?

— Да что вы! Какой там стыд? Вид у неё был очень счастливый, будто она только что величайшую победу одержала.

Миронов помолчал, потом предложил:

— Давайте поговорим о чём-нибудь весёлом. О классиках ваших, например.

— Да, кстати, — вспомнила Ирина Сергеевна, — хотела вам репродукции их портретов принести, да забыла. Принесу завтра.

Они стали встречаться почти каждый день. Она приходила по вечерам посмотреть, как продвигается работа над портретами. Миронов заметил, что в те дни, когда он не видит её, ему явно не хватает её присутствия, её удивительно глубоких тёмно-серых глаз, её нежного грудного голоса с такими тёплыми интонациями, каких он никогда ни у кого не слышал.

Однажды он предложил:

— А давайте, я ваш портрет напишу.

Она охотно согласилась.

Оказалось, что позировать Ирина Сергеевна умеет. Ему приятно было, работая, беседовать с нею о поэзии, о живописи. Оказалось, что она тоже любит импрессионистов, особенно Ренуара и Клода Моне.

Работа понемногу продвигалась вперёд, хотя приходила Ирина Сергеевна не каждый день из-за занятости: приближался конец учебного года, а для учи-

теля это самое трудное время. Позировать она могла не более полутора часов в день.

Но однажды случилось странное событие, оставившее у Миронова неприятный осадок.

Работая над её портретом, он решил сделать небольшую передышку и подошёл к окну, чтобы покурить в форточку. И тут в окне неожиданно возникло жуткое видение — из-под выгоревшей шляпы с обвислыми полями уставился в него глаз, бесцветный, водянистый, с острым буравчиком зрачка. Глаз этот принадлежал не то маске, не то человеческому лицу, правая половина которого сплошь состояла из багровых рубцов, а левая была жёлтая, словно вылепленная из воска.

Человек этот оскалил зубы то ли в улыбке, то ли в злобной гримасе, отшатнулся от окна и пошёл к калитке. Несмотря на жару, одет он был в рубашку из толстой клетчатой ткани и потёртый кожаный жилет.

— Это что ещё за чудище? — удивился Миронов. — Прямо Фредди Крюгер из фильма ужасов.

К его удивлению, Ирину Сергеевну это зрелище не испугало.

— Никакой это не Крюгер. Это бывший мой муж, Николай Слепцов, — усмехнулась она. — Ревнивого мавра из себя строит. Пронюхал, что я здесь.

— А что у него с лицом?

— А это последствия его бурного любовного романа.

— Какого, если не секрет?

— О, это довольно нелепая история. Поженились мы с ним через полгода после того, как я сюда из института приехала. Как он меня любил! Дня

прожить без меня не мог! По крайней мере, убеждал меня в этом. Правда, любви этой горячей хватило всего на один год, как и у вашей жены бывшей, пока он прежнюю свою любовь не встретил. Стал пропадать у неё. Иногда домой только утром приходил. Мне это, конечно, не понравилось, начались ссоры, и однажды он хлопнул дверью и ушёл к ней насовсем. Она, говорят, и в юности была довольно капризная и злая, а теперь, после своего первого неудачного брака, стала настоящей фурией. В общем, не нашёл он с нею счастья. Пить начал, скандалить, а однажды даже ударил её. А у неё в шкафу зачем-то баночка серной кислоты хранилась, вот она со злости кислоту эту ему в физиономию и выплеснула. Её, конечно, посадили, а он на всю жизнь уродом остался. И что бы вы думали? Стал опять ко мне проситься. Я ни в какую: на что он мне, этот предатель? А он в слёзы. «Ага, пока красивый был, плакала по мне, — говорит, — а калекой стал — теперь тебе не нужен!» А народ у нас знаете какой! Не его осуждать стали, а меня. Даже коллеги уговаривали: «Да прими ты его. Теперь он поумнел, не будет больше изменять тебе. Да и кому он такой нужен?» А я по молодости да по глупости людской молвы испугалась и приняла его. Живём под одной крышей, только и всего. Работать не хочет. «Кто меня такого, говорит, на работу возьмёт? Разве что ворон на огороде пугать?» Мало того, что кормлю его, дармоеда, он ещё и пить на мои деньги ухитряется. Валяется целыми днями на диване да в телевизор пялится, когда трезвый. Или купит водки, возьмёт ружьё — и в лес. Стрелять не стреляет, с чем уходит, с тем и приходит, только уже пьяный.

— Вас не обижает?

— Ещё как! К каждому столбу ревнует, хотя мы с ним давно развелись. Угрожает, что если я кого-нибудь себе заведу, то и меня, и его убьёт. Бывало, как напьётся, побить грозитя. Один раз попробовал было, так я ружьё взяла и говорю: «Посмей только пальцем тронуть — застрелю как собаку!» Помогло: больше не пытается, только смотрит злобно.

3

К полудню стало невыносимо душно. Не слышно было ни пения птиц, ни собачьего лая, лишь куры в соседнем дворе ходили, распутив крылья, и хлопали скучными голосами.

Под куполом церкви скопилась такая духота, что одежда на Миронове промокла от пота уже через десять минут после начала работы. Чтобы хоть немного отдышаться, он то и дело спускался с лесов и садился в тени в надежде поймать хотя бы лёгкое дуновение ветерка, однако воздух был горяч и неподвижен.

К трём часам дня работать стало совсем невмоготу. Он спустился вниз и пошёл к деревянной будке душа, стоявшей в огороде, неподалеку от водопроводного крана. Вода в баке оказалась горячей, но после душа стало немного легче. Переодевшись в сухое, он лёг на диван и читал до самого вечера.

После ужина Миронов вышел во двор и увидел, что на западе полнеба закрыто тяжёлыми сизыми тучами.

Гроза началась, когда совсем стемнело. Сильный порыв ветра ударил по листьям деревьев,

и они тревожно зашумели. Взметнулись тучи пыли, жалобно взвыли провода. Новый порыв ветра был ещё сильнее, с проводов на противоположной стороне улицы посыпался дождь искр, и разом погасли фонари и разноцветные прямоугольники окон.

Миронов сидел у окна, глядя в темноту. Сверкнула молния, озарив всё слепящим синим светом, и через несколько мгновений вверху оглушительно грохнуло, гул прокатился по небу, постепенно затихая вдаль. После этой вспышки стало ещё темнее.

Блеснула ещё одна молния, потом другая, третья, гром грохотал почти непрерывно в разных концах неба.

И вдруг при очередной вспышке глазам Миронова предстала фигура человека, стоящего у штакетной ограды лицом к нему. Ещё раз синим огнём озарилась улица, и он успел заметить, что человек этот одет в клетчатую рубаху и жилет, а на голове у него шляпа с обвислыми полями. Это был Николай Слепцов.

Невольный холодок пробежал у Миронова между лопатками. «Какого лешего этому страшилищу здесь нужно? Бывшую жену у меня ищет? Так я сам её третий день не вижу», — подумал он.

Молнии сверкали одна за другой, и каждая выхватывала из темноты эту зловещную фигуру, застывшую у забора.

Снова треснуло, будто расколовшись на множество осколков, небо, и на землю обрушился ливень. В свете молний была видна только белая стена воды и облако водяной пыли над асфальтом. Когда дождь немного стих, Андрей увидел, что Слепцова уже нет у ограды.

В воскресенье Миронов зашёл на рынок, чтобы купить в одном из киосков новые кисти для живописи. Едва ступив за ворота рынка, он окунулся в дикую разноголосицу: шум толпы, выкрики торговков, рёв магнитофонов в киосках, где торгуют аудиокассетами. Большого скопления людей Андрей не любил, всегда старался избегать его и сейчас шёл торопливо, отыскивая взглядом нужный прилавок среди разноцветного китайского и турецкого тряпья, обуви, утюгов, чайников, стеклянной и фаянсовой посуды.

Среди хаоса звуков его привлёк хриплый, прокуранный баритон, выкрикивавший:

— Великий вождь мирового пролетариата Владимир Ильич Ленин сказал: «Искусство принадлежит народу». Налетай, народ, выполняй завет великого вождя, покупай картины! Поддержим трудовым рублём отечественное изобразительное искусство!

Кричал какой-то тощий мужичонка. Что-то жалкое было во всём его облике: коричневая рубашка, выгоревшая на плечах, острые скулы и ввалившиеся морщинистые щёки, загорелая лысина с клочками сивых волос над ушами, узкие бесцветные глаза и жиденькая бородёнка цвета подгнившего апельсина. Даже на расстоянии от него несло водочным перегаром. На решетчатом стенде были развешаны картины. Не нужно было быть художественным критиком, чтобы увидеть, что талант художника в мужичонке даже не ночевал: его произведения были копиями, сде-

ланными, по-видимому, с открыток, что печатались в 60-е — 70-е годы прошлого века. Самой большой из них была картина Васнецова «Богатыри». То ли репродукция копиисту попалась совсем уж неудачная, то ли захотелось ему увековечить на холсте самого себя, но Илью Муромца он наградил своей жиденькой рыжей бородой и бурой физиономией убеждённого поклонника Бахуса. Внизу, под ногами коня Алёши Поповича, крупными буквами было написано: «Копия художника В. Колыбашкина».

Андрей даже не остановился, просто замедлил ход, с улыбкой скользнув по лицу копииста и по творениям его кисти, как вдруг тот, скривив рот и сощурился глазами, злобно закричал:

— Чего зубы скалишь? Приехал хлеб у меня отбивать, так ещё и лыбишься! Церковь расписывать должен я, а не ты! Я местный старожил, художник-самородок, а ты тут с какого боку-припёку?

Их сразу окружили зеваки. Просто диву даёшься, до чего же люди у нас любят скандалы.

— Меня сюда пригласили, — миролюбиво сказал Миронов. — Почему меня, а не вас, этого я не знаю.

— Всё ты знаешь! Взятку попу дал, вот он тебя и пригласил. А я художник почище тебя! Я настоящее народное достояние! Я из этой церкви яичко пасхальное сделал бы!

Тут уж Миронов не выдержал.

— Могу себе представить, — сказал он, — какими бы у вас святые стали, если даже богатыри вышли на пугал огородных похожими!

— Ты говори, да не заговаривайся! — окрысился Колыбашкин. — Ишь, остряк-самоучка нашёлся!

Гляди, а то выйду из-за прилавка да как намну бока — мало не покажется!

— Ладно, ладно, — засмеялся Миронов, — я уже испугался. Ухожу. Не буду ставить палки в колёса процессу рыночной экономики! Желаю вам и впредь вносить неограничиваемый вклад в сокровищницу мирового изобразительного искусства!

— Он ещё насмеяться будет! — кричал ему вслед копиист. — Гляди, чтоб тебе в тёмном переулке ноги не переломали!

Но Миронов, не оглядываясь, пошёл дальше.

5

В июне начались школьные экзамены, и Ирина Сергеевна перестала позировать. К вечеру Миронов слезал с лесов, ужинал и писал портреты классиков, а после захода солнца шёл в летнее кафе «Аэлита», пил кофе или пиво, неторопливо курил и разглядывал пёструю публику, собиравшуюся здесь.

Завсегдатаями кафе были девочки лет пятнадцати-шестнадцати, размалёванные и развязные, и их кавалеры, люди в возрасте, мордастые, самодовольные, высокомерно поглядывающие вокруг.

Девочки пили шампанское, курили дорогие сигареты, манерно держа их пальчиками с длинными накладными ногтями, громко и визгливо хохотали и, видимо, казались самим себе дамами из высшего общества, прошедшими Крым и Рим, знающими цену и себе, и своим богатым покровителям.

Миронова удивляло то, что родители этих несовершеннолетних содержанок, по-видимому, не за-

мечают, что их дочери развратны, что они приходят домой пьяными и от них разит табаком.

В один из таких вечеров, сидя на открытой веранде кафе, Миронов вдруг почувствовал спиной чей-то взгляд. Он оглянулся, но успел только заметить, что кто-то скрылся за деревом.

Он посидел за столиком ещё четверть часа, допивая своё пиво, потом не торопясь пошёл домой.

Вечер был ясный и тёплый, месяц узким бронзовым серпом сверкал на западе.

Миронов шёл, как всегда, самым коротким путём — глухим переулком, мимо длинной, протянувшейся на целый квартал стены какого-то склада. Тротуаров здесь не было, и идти приходилось по разбитой асфальтовой мостовой, обходя глубокие выбоины. Далеко впереди тускло горел фонарь на столбе, а здесь была полутьма, и Андрей, остановившись прикурить, поднял глаза к небу, ища знакомые созвездия.

Дойдя до середины склада, он увидел, как впереди из-за кустов вышли три тёмные мужские фигуры и остановились, перекрыв ему дорогу.

«Ишь ты, — подумал Миронов, — как они картинно стоят: ноги на ширине плеч, руки в карманах. Киношных «братков» копируют. Ясно: меня ждут, знают, что я этой дорогой хожу. Не хотелось бы драться, да, видно, придётся. Просто грабители или чей-то заказ выполняют? В таком случае интересно узнать, кто их нанял: этот хренов Репин местного разлива или Фредди Крюгер ревнивый?»

Сердце, как это не раз бывало в минуту опасности, забилось быстрее, и Андрею почему-то стало даже весело. Ну что ж, драться, так драться! Он, не сбав-

ляя шага, пошёл к этим трём тёмным фигурам, навистывая мелодию из мюзикла «Нотр-Дам».

— Эй ты, свистун недоделанный! — окликнул его один из парней, В тусклом свете фонаря видно было, что он приземист, мордаст и острижен наголо. Огонёк сигареты осветил его толстый нос и маленькие глазки.

— Закурить есть? — спросил он.

— А тебе что, одной сигареты в зубах мало? — усмехнулся Миронов.

— Ну ты, мазила церковная! — рявкнул другой и несколько раз демонстративно шлепнул по ладони бейсбольной битой. — Пипл базарит, что тебе поп крутые бабки за твою мазню отстёгивает, так что отслюни нам по столынику, а то...

— А то что?

— А то дам по репе так, что сразу ласты склеишь!

— Парни, а может нам разойтись по-хорошему? — спросил Миронов. — Между прочим, я кандидат в мастера по боксу, и мне не хотелось бы в такой хороший вечер членовредительством заниматься!

— Ишь ты, кандидат хренов нашёлся! В жмурики ты кандидат, а не в мастера! Гони башли, а то сейчас нашелушим бобов, мало не покажется!

— Слушайте, парни, — сказал Миронов. — Ещё раз предлагаю: разойдёмся красиво, как Аллочка с Филей Киркоровым. Заявляю: я не из пугливых. На войне меня не так пугали! Там громилы были такие, что от одного вида бородачи заикой можно было сделаться. А такой шушеры, как вы, я в жизни видал больше, чем вы ворон в осеннюю погоду.

— Ах ты, гад! — разозлился мордастый. — Щас я тебе харизму начищу!

Он размахнулся, но Миронов присел и, когда огромный кулачище пролетел у него над головой, выпрямился и ударил детину в челюсть. Тот только квакнул и рухнул как подкошенный. Второй даже дубину поднять не успел. Получив затрещину, он отлетел к стене и сполз по ней на асфальт, спиной стирая известь и выронив биту. Миронов поднял её и пошёл на третьего.

— Не надо, не надо! — залепетал тот, пятясь и вытянув вперёд руки. — Не бейте меня!

— Будешь хорошим мальчиком и скажешь, кто вас подослал, бить не стану, — пообещал Миронов, продолжая наступать.

— Скажу, скажу... Это всё Колян!

— Какой Колян?

— Ну эта... Квазимода с обсмолённой мордой!

— Ясно. И что же он вам сказал?

— Говорит: проучить надо этого мазилу церковного. У него, говорит, с моей бабой шуры-муры. Башли заплатить обещал.

— Ну ладно. Бить не буду, пожалею такого откровенного мальчика. Скажи своим чемпионам олимпийским: хотят жить — пускай мне на дороге не попадаются больше. Лечить или хоронить за свой счёт никого не буду.

Он сунул биту под мышку и пошёл домой. Подобную городскую шпану он встречал и раньше. Они молодцы против овцы, когда их трое, а овца одна. Дашь им по носу — куда только храбрость девается. Эти больше к нему не сунутся. Да и Николай тоже крепко призадумается, стоит ли с ним, Андреем, связываться.

Но относительно Николая он ошибся. По вечерам, возвращаясь из кафе или из кино, он видел, что тот тащится следом за ним, даже не стараясь быть незамеченным.

«На нервах, подлец, играет, — думал Миронов. — Ну что ж, посмотрим, у кого нервы крепче».

Но вскоре эта нелепая игра стала раздражать его. Он терпеть не мог неопределённости. Надо было поговорить с Николаем, но, стоило ему повернуть назад, как тот поспешно уходил прочь.

Работать в церкви никто Миронову не мешал. Заходил только отец Михаил — посмотреть, как продвигается работа, да два раза заглянул Колыбашкин, постоял, ворча что-то себе под нос, и вышел.

Но однажды, когда Миронов работал на лесах, незнакомый женский голос окликнул его:

— Андрей Николаевич, вы не могли бы спуститься? Разговор есть.

Это была Зоя Александровна, подруга Ирины Сергеевны.

— Я должна предупредить вас, Андрей Николаевич, — сказала она, когда они вышли из церкви и сели в тени на лавку. — Вчера Николай Слепцов при мне сказал Ире, что убьёт вас. Остерегайтесь его: человек он больной, нервный до крайности и злой. А напьётся — совсем неуправляемый становится. От него любой пакости ожидать можно.

— Спасибо за предупреждение, — поблагодарил её Миронов. — Но, как сказал Лев Толстой, он пугает, а мне не страшно. Давно отвык бояться.

— И всё-таки будьте осторожнее. Как говорится, бережёного Бог бережёт. Ира за вас очень боится.

К концу июня портрет Ирины Сергеевны был готов. Положив последний мазок, Андрей сказал:

— Ну вот, теперь можете посмотреть.

— Боже мой! — воскликнула она, подойдя к портрету, — Как живая! Не знала, что могу такой красивой быть. Да вы просто чудо!

И она поцеловала его в щёку. Поцелуй её был как ожог. Руки его сами потянулись обнять Ирину Сергеевну, но он, опомнившись, отошел к окну, закурил.

Она даже не подозревает о том, как он любит её. Любит отчаянно и мучительно, так, что каждый день, прожитый без неё, кажется потерянным безвозвратно. Но, может, хватит обманываться, безраздельно отдаваться чувству? Слишком ещё саднит старая рана, нанесённая изменой жены. Когда это случилось, он сказал себе, что с любовью покончено навсегда и ни одна женщина не сможет больше надолго занять место в его сердце. Хватит с него обманов и измен, хватит самообольщений. Были, конечно, и потом в жизни его лёгкие увлечения, но все они оказывались недолговечными: стоило очередной женщине напрямую заговорить о свадьбе, как у него сразу пропадал к ней интерес.

Теперь же всё иначе. Ирина Сергеевна одним присутствием, внимательным взглядом серых глаз, в которых то и дело как будто пробегают странные тени, умеет прогнать его душевную усталость и сомнения, казалось бы, навсегда утнездившиеся в нём. Она была спокойна и терпелива, позируя, могла часами сидеть, не меняя позы и полного загадки

выражения лица. Он всматривался в это лицо, перенося на полотно нежность её чуть тронутой загаром кожи, восхитительный изгиб её губ, ниспадающие на плечи золотистые волосы, и сердце его обвевало каким-то сладким холодком.

И вот теперь работа над портретом закончена, осталось только дать краскам высохнуть и вставить полотно в раму. А это означало скорую разлуку с Ириной Сергеевной, и его любовь к ней навсегда останется для неё тайной. Конечно, этого не случится, если он признается ей в любви. Но вот вопрос: а нужно ли это делать? Стоит ли вносить смятение в её душу? Да, она по-дружески относится к нему, ей, несомненно, нравится его общество, но это совсем не значит, что она любит его. Не лучше ли оставить всё как есть?

Но в конце недели все его сомнения разрешились самым необычным образом. Вечером в субботу Ирина Сергеевна унесла портрет домой, а в воскресенье в слезах принесла его обратно. Оказалось, что вчера Николай при виде портрета пришёл в ярость, схватил кухонный нож и проткнул им холст.

— Мне показалось, что он в меня нож вонзил, Я в ужасе закричала. А он расхохотался, злобно так, издевательски расхохотался, Тут уж я не выдержала. Сколько же можно терпеть его выходки? Говорю ему: «Пошёл вон, мерзавец, и чтоб ноги твоей здесь больше не было!» Он глаза на меня вытаращил и испуганно так спрашивает: «Да ты что? Куда же я пойду?» — «А куда хочешь, — говорю, — Иди к своей пьянчуге матери; она, бедная, в собу- тыльнике нуждается». Он — ни в какую! Тогда

я его вещи собрала и за дверь выставила. Он ружьё и патронташ взял, да и подался к маме. А в дверях задержался и говорит: «Ты ещё об этом пожалеешь!»

Она опять разрыдалась. Миронов обнял её и заговорил горячо и решительно:

— Ира, дорогая, любимая, успокойся, не надо плакать! Портрет я напишу заново. Обещаю, что всё будет хорошо. Я люблю тебя, я жить без тебя не могу. Мне нужно постоянно видеть тебя. Когда тебя нет, у меня в сердце такая пустота. От неё даже моя любимая живопись не спасает. В жизни у меня было немало бед, от многих печалей мне так и не удалось избавиться, но, когда ты рядом, я забываю все свои горести. Никого я не любил так, как люблю тебя!

— Правда? — спросила Ирина Сергеевна, подняв заплаканное лицо. — А я думала...

— Что ты думала?

— Что ты относишься ко мне только по-дружески и не более того. Ты всегда так сдержан со мною. А я ведь давно люблю тебя — чуть ли не с первой встречи. Я тоже до тебя никого не любила.

— А как же Николай?

— За него я вышла потому, что так заведено: всякая девушка должна замуж выходить. А он был наиболее подходящей кандидатурой. Подруги говорили: «Ну чем не жених: инженер, красавец, не пьяница, интересуется тобой. Выходи за него, пока какая-нибудь вертихвостка тебя не опередила». А чем всё кончилось? И тут появляешься ты — красивый, умный, талантливый. Как я могла не полюбить тебя?

Они сидели, обнявшись, и говорили, пока за окном не погасла вечерняя заря.

Они стали встречаться каждый день, после работы, теперь уже в лесу, там, где несла свои мутные воды река. Это были волшебные дни, полные солнечного света, небесной синевы, задумчивого лепета листвы, залиvistых птичьих голосов и отдалённого городского шума: автомобильных гудков, свистков электровоза, приглушенного расстоянием грохота каких-то механизмов.

Церковь стояла почти на краю города. Метрах в двухстах от неё улица кончалась и начинался лес.

Андрей приходил сюда по выходным, расставлял свой этюдник и начинал работать. Живописных мест здесь было немало: жёлтый песок на противоположном берегу реки, а дальше, среди зелени, разнообразные дачные домики с серыми и красными крышами, с зелёными оградами вокруг огородов.

А здесь были глубокие прохладные тени, могучие дубы и на фоне тёмной зелени — белоснежные, туго натянутые тонкие нити берёзок.

Он был безоблачно счастлив. Неведомое прежде чувство свободы возбуждало в нём желание работать; всё радовало его: и трепещущие в зеленоватом лесном воздухе крылья бабочек, и хриплое карканье грачей, и монотонные выкрики кукушки, и скрипучий голос сойки, и горячий аромат лесной поляны под ярким полуденным солнцем.

И непременно часа через два, когда он уже заканчивал работу над этюдом, приходила Ирина, вся насквозь пронизанная солнечным светом, с радостной улыбкой на розовых губах, с двумя золотистыми

потоками волос, льющимися на плечи и на полуоткрытую грудь, и от этой восхитительной красоты сердце его томительно-сладко замирало.

В городе безумствовало лето. Городские улицы были нагреты так, что асфальт пружинил под ногами, а стены домов накалились до того, что к ним нельзя было притронуться. Но здесь, в лесу, воздух был не так горяч, как в городе. Большие синие стрекозы висели на одном месте; над рекой стремительно проносились ласточки, то и дело касаясь воды; на другом берегу, в дачном посёлке, лениво перекликались петухи.

Как хорошо было лежать на упругом травяном ковре! Аромат трав мешался с запахом волос Ирины. В каком-то исступлении целовал Миронов её губы, волосы, горячую нежную кожу, глаза, сине-зелёные от отражённых в них неба и листьев.

Николая Слепцова они не видели с тех пор, как Ирина выгнала его: то ли у него был длительный запой, то ли он куда-то уехал.

— Слава Богу, — сказала Ирина Сергеевна, — Кажется, он решил наконец оставить меня в покое.

Но она ошиблась. Николай просто ждал удобного случая.

Однажды в воскресенье Настя, дочь священника, принесла Миронову записку от Ирины Сергеевны. Та извинялась, что не сможет сегодня встретиться с ним: неожиданно приехала из села её бывшая однокурсница и пригласила её к себе на два дня — помочь наклеить обои.

Около десяти часов утра Андрей, как всегда, взял этюдник и пошёл в лес.

Накануне он присмотрел там живописный уголок: кусты прошлогоднего камыша белёсо-палевого цвета и свежая осока, колеблемая течением, а на противоположном берегу — серебристые кусты лоха на фоне изумрудного склона.

Миронов задумчиво посидел на берегу, прислушиваясь к тихому журчанию мутно-жёлтой воды, кваканью лягушек, отдалённым крикам камышовки. Пахло травой и мокрой глиной. На душе было спокойно и легко, и казалось, ничто не может замутить этот покой, это счастливое созерцательное настроение.

В тени развесистого дуба он поставил этюдник, на загрунтованном картоне набросал контуры будущего пейзажа.

В лесу всегда немало сухих веток, упавших с деревьев в траву. Стоит только наступить на одну из них — раздастся треск. Услышав, как позади него хрустнула ветка, Миронов резко обернулся и остолбенел: к нему осторожно крался Николай Слепцов. В руках он держал двустволку, и выражение его изуродованного лица было злобно и решительно.

— Ну что? Наловил рыбки в мутной водичке? — спросил он. — Не пора ли рассчитаться?

Миронова спасла его боксёрская реакция. Промедли он всего лишь на секунду — и картечь разворотила бы ему грудь. Он прыгнул за широкий ствол дуба, и тотчас грянули оба ружейные ствола, свинец хлестнул по дереву, крошки коры разлетелись в разные стороны.

Волна ярости окатила Андрея. Подобное не раз случалось с ним на войне. Перезарядить ружьё Ни-

колай не успел. Миронов в три прыжка оказался рядом и нанёс удар в подбородок, вложив в него всю тяжесть своего тела. Ружьё отлетело далеко в сторону...

Николай лежал на спине, разбросав руки, и Андрей испугался, не убил ли его. Потом Слепцов пошевелился и застонал. Миронов поднял ружьё и, размахнувшись, швырнул его в реку. Оно прошелестело сквозь камыши, сбивая их метёлки, и брызги воды взметнулись вверх. Следом полетели и патроны.

Николай долго ворочался на земле, потом сел, вытирая рукавом грязной рубахи кровь с лица. Был он жалок и противен — давно не стриженный, с густой щетиной на левой, не тронутой кислотой щеке и на подбородке.

— Что, свобода надоела? — спросил Миронов. — Решил убийством любовь Иры завоевать? Да ты хоть немного представляешь, что это такое — человека убить? А я вот знаю и скажу тебе: всю жизнь потом покоя не будет!

Слепцов закрыл лицо руками и заплакал. Миронову на минуту даже стало жаль этого изувеченного, спившегося, запутавшегося человека.

«Да что это я? — рассердился он. — Этот негодяй чуть не убил меня, а я его жалею! Да пропади он пропадом!»

Он сложил этюдник, набросил его ремень на плечо и пошёл в город. Оглянувшись, увидел, что Николай раздевается: видно решил найти в реке ружьё.

А на квартире его ждала телеграмма, подписанная братом Костей: «Немедленно приезжай. Мама тяжело больна».

Миронов тут же позвонил на автовокзал — автобус шёл через сорок минут. Он написал записку и попросил Настю отнести её Ирине Сергеевне, когда та вернётся из села, а сам собрал вещи, поговорил с матушкой Ксенией (отец Михаил был на службе), вызвал такси и за десять минут до отправления автобуса был на вокзале.

10

Мать умирала.

Из больницы её выписали как безнадежную больную. Сначала за ней ухаживала нанятая Костей соседка, но позавчера ей пришлось уехать в город к дочке, родившей ребёнка.

Брат Андрея торговал колбасой, сыром и другими продуктами, разъезжая по сёлам и хуторам района, и матерью заниматься ему было некогда. Он вообще не отличался душевной тонкостью и чувствительностью, а тут ещё жена ему попала такая, что вертела мужем, как хотела, и не позволяла ему отвлекаться от торговли ради ухода за матерью: та всё равно умрёт, а продукты надо продать, пока они не испортились.

Более трёх недель просидел Миронов у постели матери. Телефона на хуторе не было, потому здесь жили только старики, да и тех было — раз-два и обчёлся. А мобильник у Андрея разбился, упав с лесов, когда он расписывал церковь, так что позвонить отцу Михаилу, чтобы узнать, как дела у Ирины Сергеевны, не было никакой возможности.

Мать умерла, так и не придя в сознание. Миронов плакал над её гробом, как ребёнок. Брат

помог ему организовать похороны и поминки; сестра, прилетевшая из Нижневартовска, вызвалась остаться и приготовить поминальный обед на девятый день, а Андрею нужно было закончить работу в церкви, и он через два дня после похорон уехал к отцу Михаилу.

На сердце было тяжело, и лишь мысль о скорой встрече с Ириной Сергеевной согревала душу. Скоро он закончит работу, и они уедут к нему в город. Квартира у него есть — и неплохая, работа для Ирины найдётся: в школах сейчас немало вакансий, потому что старые учителя уходят на пенсию, а молодёжь, получив диплом, устраивается куда угодно, только не в школу, где зарплата ничтожно мала, да и школьников, которые в последние годы стали почти неуправляемыми, они боятся.

На стук в дверь дома священника никто не отозвался: видимо, у него была вечерняя служба, а матушка Ксения с Настей куда-то ушли, и Андрей, оставив вещи дома, пошёл к Ирине Сергеевне.

На стук вышла незнакомая женщина, крашеная остроносенькая блондинка, с густо подведёнными веками, отчего её серые глаза казались совершенно бесцветными.

— А Ирина Сергеевна где? — растерянно спросил Миронов.

— А кто это? А, это вы, наверное, про учительницу, что тут жила, спрашиваете? Так она уехала. Теперь мы с мужем тут живём.

— Уехала? Когда? Куда?

— Не знаю. А вы в школе спросите, может, там знают.

Ему показалось, что земля уходит из-под ног. Но верить в то, что сказала женщина, не хотелось. Может, не уехала, а на другую квартиру перешла? Матушка Ксения и отец Михаил наверняка знают, где она.

Матушка была уже дома. Увидев Андрея, она посерьёзнела.

— Где Ирина Сергеевна? — спросил он. — Что случилось?

— Тут без вас, Андрей Николаевич, много чего произошло. Вы уехали, и в ту же ночь Николай Слепцов застрелился. Застрелиться-то он застрелился, но как-то не по-человечески поступил: записку оставил очень скверную. В смерти своей вас и Ирину Сергеевну обвинил. Её, конечно, несколько раз на допросы вызывали. Правда, в конце концов признали, что, раз она с ним давно развелась и он в последнее время с матерью жил, обвинять её не в чем. Но люди у нас злые. Стали вслед ей слова нехорошие говорить. Но самое страшное произошло на базаре. Мать Николая после похорон напилась пьяная, обзывала её всякими грязными словами и два раза по лицу ударила. А там и школьники были. Милиция, конечно, забрала эту бабу пьяную в вытрезвитель, а потом на пятнадцать суток посадила за хулиганство, но Ира такое потрясение испытала, что попала в больницу с гипертоническим кризом. А потом сразу с работы рассчиталась и уехала из города. Сказала, что после такого позора никогда сюда не вернётся. Да вот она письмо вам оставила.

Из ящика стола она достала конверт. Дрожащими руками Андрей разорвал его, вынул листок бумаги, исписанный нервным почерком.

«Андрюша, дорогой, мой единственный! Когда ты прочтёшь это письмо, я буду уже далеко отсюда. Счастье моё оказалось недолгим. Ни о чём в жизни не буду я жалеть так, как о разлуке с тобой. Но я бессильна что-нибудь исправить. Знаю, что ни ты, ни я в смерти Николая не виноваты, но людская молва считает нас его убийцами, люди жалеют его, а не нас с тобой. Я больше не могу переносить эти косые взгляды, этот шёпот за спиной. Даже в больнице я чувствовала эту ненависть, поэтому выписалась, даже не долечившись. Вижу, что в этом городе мне больше не жить. Я по-прежнему люблю тебя, но вместе мы никогда не будем счастливы: между нами всегда будет стоять эта смерть. Прощай навсегда, Не ищи меня.

Ирина».

«Да что она, с ума сошла, что ли? — рассердился Миронов. — Молвы людской испугалась! Уехала бы со мной — жили бы там, где её никто не знает. В смерти Николая себя обвиняет! Да это всё равно с ним рано или поздно случилось бы. Многие запойные пьяницы так кончают».

— Куда она могла уехать? — спросил он у матушки Ксении.

— Не знаю. Я бы посоветовала вам поговорить об этом с Зоей Александровной. Она её лучшая подруга.

Когда он пришёл по указанному адресу, уже совсем стемнело.

— Скажите, Зоя Александровна, — без промедления обратился Миронов. — Куда уехала Ира? Я люблю её.

— Я вас понимаю, Андрей Николаевич, — вздохнула она. — Понимаю и очень хотела бы помочь, но не знаю, как это сделать. Мне известно лишь, что Ира поехала в Москву. Но думаю, что там она не задержится. У неё в Канаде сестра живёт, какой-то магазин имеет. Недавно у неё муж умер, и она Ире приглашение прислала. Самой трудно с делами управляться. Заграничный паспорт Ира ещё весной оформила. А теперь, после всего, что случилось, она, скорее всего, поехала о визе хлопотать. Или уже в Канаде. Конечно, это не более чем мои предположения. Боюсь, что она решила порвать все прежние связи.

Наступило молчание. Слышна была только меланхоличная переключка сверчков в виноградной листве да отдалённый гул автомобилей.

— Знаете, Зоя Александровна, — заговорил Миронов. — После того, что мне пришлось испытать на войне, я думал, что уже ничто никогда меня из колеи не выбьет. Но в последнее время мне не раз пришлось усомниться в этом. А сейчас я в полной растерянности. Я совершенно не представляю, как дальше жить, что делать.

— Ждать.

— Чего ждать? С моря погоды?

— Всякое в жизни бывает. Понимаете, Иру я знаю не первый год. Человек она тонкий, ранимый. Сейчас ей чувство вины за смерть Николая покоя не даёт. Да и на людей она обижена: очень уж подло с ней поступили. А ведь раньше очень многие её любили. Но у нас, как говорил Высоцкий, любят, любят, а потом съедят. Но мне верится, что со временем всё пройдёт, она поймёт, какую ошиб-

ку совершила, и вернётся в Россию. Только бы скорее опомнилась, пока вы на неё рукой не махнули и на другой не женились.

Душная летняя ночь накрыла город. На западе тёмной стеной стояла туча, тревожно трепещущая зарницами, а над головой величественно лилась куда-то широкая река Млечного Пути. Бесшумно прочертила звёздное небо длинная полоса метеора, скользнула и растаяла мгновенно, словно стёртая невидимым ластиком.

«Вот так и Ирина, — с горечью подумал Миронов, идя по улице к центру города, — осветила на какое-то мгновение мою жизнь и исчезла. А я чуть было не поверил в возможность счастья. Думал: она мне в утешение послана за все мои прежние невзгоды и потери».

Он зашёл в кафе, заказал бутылку коньяка и бутерброды, выпил рюмку, другую и удивился тому, что не ощутил ни запаха, ни вкуса, ни приятного похмелья. Долго сидел он, уставившись в одну точку, пил, курил сигарету за сигаретой, не обращая внимания на царящее вокруг веселье. Где-то погромыхивало, но громкая музыка почти заглушала эти звуки.

Вдруг вспыхнула магниевым светом молния, и всё содрогнулось от чудовищного грохота. Миронов очнулся от своих безрадостных дум и, оставив коньяк недопитым, вышел из кафе. Порыв ветра взметнул тучу пыли, растрепал листву деревьев. Чернильная тьма гасила звезду за звездой, молнии рвали мрак, и гром прокатывался из конца в конец неба.

Не успел Миронов дойти до перекрёстка, как первые капли ударились об асфальт, а потом стеной обрушился на землю ливень. Андрей добежал до ближайшего киоска и укрылся под его козырьком. Яркая молния залила мостовую, и вслед за раскатом грома низвергся град. Ледяные шарики скакали по асфальту, с деревьев сыпались листья, молнии полыхали одна за другой. И — странное дело — этот разгул стихий будто сорвал с души и унёс давивший её гнёт, и Миронову подумалось вдруг, что жизнь ещё не кончена, что будут ещё в ней светлые дни, потому что он не привык отступать и сдаваться. А человек — не иголка в стоге сена, и, если он жив, то рано или поздно найдешь его, и не может жизнь состоять из одних только бед, неудач и невосполнимых утрат.

ЛЕГЕНДЫ СТАВРОПОЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ

ХУДОЖНИК ГОРБАНЬ

ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ

По мнению художника Леонида Черного, Ставрополье в конце советской эпохи выразило целую плеяду метафизически талантливых художников. «Гречишкин — эпик (от слова «эпический»), Фисенко — трагик, а Горбань — характер. Жесткий характер и жесткая Судьба. Эти две линии на протяжении всей жизни билась друг с другом не на жизнь, а на смерть. Он пришел к ладу с самим собой только тогда, когда вышел на тему Христа. Жесткая Судьба и святая Идея воссоединились».

Взгляд всякого, кто входил в зал музея, невольно останав-



**Тамара
ДРУЖИНИНА**



ливался на огромных размеров картине «Мои натурщики». Шестнадцать молодых людей в грубошерстных свитерах и толстовках, скорее всего, собрались вместе не случайно. Это единомышленники. У одной из девушек знакомые черты. Конечно, это она, Галина Туз, в девичестве Шумарова, дочь известного писателя и детского хирурга Г. М. Шумарова. Неужели все персонажи картины прототипы реальных людей? Так и есть! Кто-то рядом со мной среди персонажей живописной группы узнал художника-оформителя Сергея Котинова...

Петр Семенович по жизни искал натурщиков, «точил» (или затачивал?) на них руку. наброски незнакомых и знакомцев делал ежедневно. Для такого тренинга чуть ли не за рукав приводил их прямо с улицы. Об этом, скажем так, необычном способе работы художника «с натурой» мне рассказал заслуженный художник РФ Валерий Арзуманов.

«Петр Семенович был совершенно особый, титанического труда художник: постоянные поиски и неустанная работа в мастерской, мастер-классы... Когда выбиралась свободная минута, он садился, ставил перед собой какой-то предмет и начинал писать: ему все было интересно. Часто выходил на улицу прогуляться, а возвращался с нечаянным собеседником.

Когда в 60–70-ых годах всячески очищали «натуру», возмущались, что это такое: писать людей с улицы, автовокзала... Настоятельно «советовали» Петру Семеновичу — напишите героя соцтруда или что-то другое, красивое... Горбань и слы-

шать ни о чем таком не хотел. Он писал людей и жизнь в той мере, в какой это было интересно ему как художнику. Поэтому и оставил огромное наследие: портреты людей, натюрморты, виды Ставрополя. И когда я однажды получил возможность увидеть все это, подумал, Боже, ведь он все время удивлялся тому, что его окружало».

Сама я с картинами Горбаня познакомилась благодаря «Ставропольской правде», где в конце прошлого века работала заведующей отделом культуры. Около месяца выставка его последних работ украшала целый этаж в Доме печати. С удовольствием водила туда друзей и знакомых, рассказывала о том, что сама открыла в необычной манере художника. Когда картины убрали, пространство будто опустело. Такое острое чувство обиды испытывала только в детстве. Знаете, вот было-было что-то твоим, необходимым, и вдруг — нет! Позже один из коллег Петра Семеновича объяснил мне феномен воздействия живописи художника так: «У кого-то картины существуют для зрителя, а у него — зрители для картин».

Почитатели художника, не знакомые с ним лично, по смелости мазка, яркости красок, неожиданности сюжетов часто представляли автора молодым, резким, решительным. А он был высокий, чуть сутуловатый, в зрелых годах мужчина. Глаза с острым, иногда колючим прищуром выдавали в нем человека упрямого, беспокойного и весьма придирчивого как к собственному, так и к чужому творчеству.

От огромного количества полотен его мастерская на самом верху одиннадцатизэтажки каза-

лась тесной. Картины стояли на полу, висели на стенах, громоздились на грубо сколоченных полках. Создавая странную гармонию, с ними соседствовали предметы, знакомые по школьным урокам рисования: глиняная крынка, зубастый чугунный утюг, горшочек запыленного алоэ... Помнится, один пейзаж прямо-таки «высасывал» глаз насыщенностью светом, цветом, жизнью. На небольшой картине буйствовало яркое молодое лето.

- Что это? Где вы такое видели? — поразила я.
- А вот там, посмотрите, я вид из окна рисовал.
- Как? Этот зеленый пятачок?
- Да вы приглядитесь, не спешите...

И вот ведь — чем пристальнее вглядывалась в открывающуюся панораму, тем острее ощущала удивительные превращения; старые тополя с раскидистыми кронами будто раздвигали пределы тихого дворика, заполняя собой всё пространство, а солнце, проникая всюду, весело разукрашивало дворик во все цвета радуги.

Между тем на столе уже призывно посвистывал простой, как вся обстановка мастерской, чайник. Горьковатый аромат трав, которые хозяин, словно колдун, бросал прямо в кипяток, медленно заполнял комнату. Мы глотали жгучий напиток из разномастных чашек, а со всех сторон смеющимися, удивленными, грустными глазами смотрели на нас картины и... говорили, говорили за своего немногословного хозяина. Позже сын Петра Семеновича Павел, сегодня сложившийся художник, когда попросила его рассказать об отце, только усмехнулся: «А я и сам мало что

знаю о нем. В школе был красным следопытом. О Долоресс Ибаррури знал, об Анке-пулеметчице тоже, а вот об отце... Только когда сам стал взрослым человеком, выяснил, что во время Великой Отечественной войны отец был командиром взвода автоматчиков, попадал в бомбежки, отстреливал фашистов. Видел его удостоверение ветерана войны, которое давало немало льгот, но при мне отец им так ни разу и не воспользовался».

ПОРТРЕТНО-КОСТЮМНЫЙ ПЕРИОД

Во время одной из наших встреч долго упрашивала Петра Семеновича показать мне хотя бы одну из его ранних картин. Но он будто не слышал. Наконец после короткой паузы равнодушно махнул рукой в сторону полок под самым потолком. «Вон там... Смотрите сами»... Встала на стул. Подергала-подергала угол рамы одного из портретов — ничего не получается. И вдруг пыл пропал. Может, художник прав, что не хочет ворошить старое. Не стесняется сделанного, не выбрасывает картин, а просто не любит их. Право не любить свой ранний, как он сам выражался, портретно-костюмный период, думаю, мастер выстрадал.

...Когда в 1952 году после окончания художественного училища он приехал в Ставрополь, оказался едва ли не первым в городе художником с профессиональным образованием. Старшие, более опытные коллеги обласкали его. И заказами не обделили. Писал лозунги, плакаты наглядной агитации, даже стенгазеты оформлял. Но самым доходным делом в середине прошлого века

считалось писать портреты передовиков и членов правительства. Они и в официальных кабинетах были нужны, и на праздничной демонстрации...

Однако с первым таким заказом Горбань не справился. Как ни старался, копия передовика производства оказалась лишь бледным подобием оригинала. Помогли умные люди: послали «подучиться» у мастера из Кисловодска. Пётр Семенович наблюдал за его работой и немел от удивления. Машина не отштампует экземпляры портретов с такой точностью, с какой живописал их коллега. Впрочем, скоро и сам «набил» руку. Желтым лоб, розовым щеки, подбородок — чуть фиолетовым... Так же гладко и лаково, как у «учителя», всё равно не выходило, но заказчики работы брали. Если у известного на весь мир великого французского мастера Пабло Пикассо в творчестве были «Голубой» и «Розовый» периоды, то у Петра Семеновича свой — «портретно-костюмный».

Конечно, не только официоз писал Горбань. Были и сюжетные картины, и натюрморты. Он не торговал талантом, если и делал что-то на заказ, то потому что надо было кормить семью. И вряд ли многие из его коллег сегодня могут сказать о себе, молодом художнике, так же жестко и честно, как он: «Тринадцать лет я учился зарабатывать деньги».

Не знаю, что именно явилось причиной коренного перелома: очередной конфликт с руководством Союза художников при отборе картин на выставку или что-то еще, но однажды, запершись в мастерской, Горбань решил, что писать

будет только то, чего хочет сам; наотрез отказался от какой бы то ни было «заказухи». Одновременно до минимума сузил круг общения с коллегами. «Ушел в подполье», — острили шутники, имея в виду комнатуху-мастерскую под крышей одиннадцатизащитки.

БЫВАЮТ ЛИ КАРТИНЫ «БЕЛЫМИ»?

Вопрос этот не только для веселых и находчивых. И задан он не из праздности.

— Черная» работа, — выдал видный чиновник от культуры по поводу картины Петра Семёновича «Домино». И на несколько лет вперед предпринял судьбу полотна — лежать ей среди других без надежды пробиться к зрителям. Между тем и сегодня, как показала экспозиция в музее, эта картина, поражает выразительностью и полнотой жизни. На грубой работы струганом столе лежат надорванная пачка сигарет, коробок спичек да зигзаг незаконченной партии в домино. Рядом горстка костяшек. Больше ничего, но ты реально ощущаешь дыхание и жизнь людей той далекой эпохи. Кто они, в каких условиях работали, — нет никаких сомнений. Короткий перерыв на обед в какой-нибудь теплушке и радостная минута отдыха; а еще — разочарование, что горячая партия внезапно прервана ...

...Первая после «самозаточения» себя в мастерской персональная выставка художника прошла в Ставрополе лишь в 1982 году. Не только зрители, но и знатоки тогда увидели совершенно нового для себя Горбаня. Это был мастер с ярким,

нервным, жестким и все-таки узнаваемым стилем письма. Это был его первый триумф

Одна за другой последовали вернисажи в Тбилиси, Орджоникидзе, Черкесске, Москве, Ленинграде... Именно тогда его натюрморт «Домино», побывавший на одной из республиканских выставок в Москве, был опубликован в книге «Натюрморты художников России». Восторженные отклики вызывали «военные» картины, такие как триптих «Пять тополей», «Фашизм» ...

Казалось бы — вот он, успех. Но чиновничий беспредел продолжался. В полотне «Карнавал» Горбаню категорически «посоветовали» перерисовать лицо героини. Он наотрез отказался.

...Всё и вся вокруг женщины в костюме испанки безумствует, веселится, полыхает огненными красками. А у неё глаза такие, будто жизнь уже остановилась. Огромные и печальные. Что это? Неоправданные надежды на счастье? А может, обратная сторона «пира жизни», которым она уже измучена. Пространство жизни — сплошное кипение страстей и кружение масок. Лишь одна сорвана — маска, обнажившая страдающую душу.

В мастерской Горбаня я видела целую серию цирковых и карнавальных работ. Снова встретилась с ними на выставке в музее. Лицо женщины без маски — одно из немногих, в которых отразилась убивающая душу человека жизнь. А сколько масок вокруг, кажется, намертво приросли к лицам! А сегодня разве не так?!

К слову сказать, тогда, десятки лет назад, Петр Семенович так и не «переписал» лицо женщины из «Карнавала», как не переписывал «по реко-

мендациям» высоких начальников ничего и никогда. Зато написал картину «Меценаты». В худощавой фигуре художника угадываются черты самого автора. А в центре — самоуверенный оценщик его творчества под руку с дородной спутницей. По самоуверенному виду дамы ясно, что её голос отнюдь не последний в решении судьбы картин, значит, и судьбы художника. И сколько же в выражении лиц этой пары высокомерного цинизма, пресыщенности...

Работы Горбаня, которые имели успех на вернисажах самого высокого уровня в столице и за рубежом, в Ставрополе долгое время принимали с боязливой осторожностью. Пополнять ими музейные фонды не спешили. Так что после недолгого времени экспонирования полотна все чаще возвращались в мастерскую к своему создателю.

ЧТОБ БЫЛО, У КОГО ПОТОМ УЧИТЬСЯ...

Каким бы сильным, уверенным в правильности выбранного пути не был художник, он обречен на необходимость постоянно проверять себя на зрителе. Петр Горбань не гнушался никакой возможностью показать свои работы людям. Делал выставки в библиотеках, кинотеатрах, как уже рассказывала, не отказался и от выставки в Доме печати. Денег это не приносило, но давало возможность выхода в жизнь, без чего творческий человек способен попросту задохнуться.

Добровольное затворничество в мастерской было всего лишь уходом от бессмысленных спо-

ров и суеты, стремлением сберечь время для творчества. Но никогда — бегством от жизни. В его мастерскую приходили и засиживались допоздна врачи, писатели. Некоторые становились желанными гостями, и редко кто оставался без кружки крутого чая, а часто и портрета.

После непродолжительного периода преподавания в Ставропольском художественном училище у Горбаня появились ученики, которые не оставляли его до последнего дня жизни. К юным дарованиям у Петра Семеновича сложилось особое отношение. «Это мои учителя», — как-то без доли рисовки сказал Горбань. — Они необыкновенно талантливы, когда только-только начинают работать. Все такие разные: задиристые, дерзкие, открытые. К сожалению, уже через два-три года своеобразия и неповторимый почерк сохраняют немногие, — посетовал Петр Семенович. — Начинают писать так и то, что от них требуют. Но до этого момента и нам есть чему у молодняка поучиться. Когда человек касается чего-то для него дорогого, высвечивается его сущность; радость и боль. В такие моменты я и рисую, — признался Петр Семенович.

Приведу еще одно откровение от художника В. Арзуманова: «У Горбаня всегда были свои предпочтения. Он никогда никому не подражал. И сейчас его кисть не спутаешь ни с какой другой. Его картины — всегда мощный эмоциональный выплеск. Он мог непрерывно писать: три-четыре-пять часов, а потом просто отключаться от мира. Потому что на протяжении всего времени был «на нервах», в состоянии творческого

напряжения. Когда работа пишется как внутреннее открытие, пропускается через себя, через душу и тут же выплескивается на холст, — любой профессионал скажет — да, это круто, здорово. Когда ты пишешь «заказуху», лишь бы она была «правильно» написана, она не оживет и никого не потревожит. Ведь в искусстве, как в математике, — есть свои законы. Картина, написанная без внутренних затрат, ничем не обогатит тебя, ни неожиданным приемом, ни мыслью. То есть, существует две разновидности картин: творчество и ремесло (даже если оно безупречное). Первое — это когда ты ищешь (значит живешь). А когда все глянцево, гладко — это уже не жизнь, во всяком случае, не жизнь в творчестве.

ПРОЗРЕНИЕ КАК ПРЕДВИДЕНИЕ

В рассказе о художнике и его картинах самым трудным бывает понять, что питает и даёт ему силы творить? Откуда приходили темы? В случае с Петром Семеновичем, думаю, объяснение следует искать не только в природных способностях, но и в полученном очень рано жизненном опыте.

В 1941 году, когда началась Великая Отечественная война, ему исполнилось восемнадцать лет, 16 декабря Петра Горбаня призвали в армию. Послали в город Сумгаит, где в политическом танковом училище он выучился на танкиста. Воевал, куда направляли: Средняя Азия, Первый и Второй Прибалтийские фронты... Дошел до Берлина... Память тех лет прошла через всю жизнь.

.... Две картины Петра Горбаня на выставке в музее я выделила бы особо. Обе были на выставке, но впервые я увидела их два десятилетия назад, в мастерской. Произошло это обыденно. Просто художник убрал с мольберта один холст и стал прилаживать другой. При этом обыденно так приговаривал: «Вот говорят, что к каждой картине нужна своя рама. Ругают, что у меня они простые, белые. А мне кажется, что такие рамы лучше всего выявляют суть; цвет не растекается в разные стороны, он ограничен в своих пределах»... Установил, наконец, картину и молча отошел в сторону. В первую минуту просто ничего не поняла. Какие-то непривычные, синесиреневые с коричневым размытые тона. Но уже в следующий момент во мне будто всё перевернулось: проявилось целое поле, усеянное людьми. Оно уходило далеко к горизонту: мужчины, женщины, дети с трагически запрокинутыми руками, неестественно выгнутыми телами. Это были именно тела, а не трупы. Полнейшее ощущение, что экзекуция произошла только-только, и от этого впечатление было еще более сильным. Картина называлась одним словом «Фашизм». (Позже узнала, что сразу после того, как художник написал её, у него начались ночные кошмары, бессонница).

— Наше поколение знает, что такое смерть, многие сталкивались с ней лицом к лицу не раз. Нельзя допустить, чтобы безумная сила вырвалась из-под контроля людей на волю. Пока мы живы, угроза возвращения фашизма реальна. В любом конце земного шара.

Эти слова я запомнила. Пишу, а у самой — мороз по коже. Пророческие слова были сказаны осенью, ровно 33 года назад. Нынче на календаре осень 2023-го. И Россия — уже внутри котла в военном противостоянии с укрофашизмом. Кровавый узел образовался в той точке земного шара, которая ближе всего к нам, русским. Черная сила пришла, откуда не ждали, от отравленного западным реваншизмом братского славянского народа, с которым в Великую Отечественную наши отцы и деды вместе душили фашистскую гидру. Я смотрела на полотно и думала, будь моя воля, устроила бы выставку одной картины. Такое вот существование человека наедине с жизнью и смертью никого не может оставить равнодушным.

Увы, мы, дети отцов-победителей «коричневой чумы», забыли об опасности фашизма. Петр Семенович Горбань помнил о ней до конца жизни. Его сын Павел, сегодня сам сложившийся художник, рассказал о случае, свидетелем которого стал однажды. В Москве, рядом с залом, где демонстрировалась выставка Горбаня, располагалась экспозиция немецкой художницы из Дюссельдорфа. На её открытие в столицу прибыла немецкая делегация.

— Зашли иностранцы и в наш зал, — объяснял Павел. — Выставка отца их заинтересовала. Немецкий чиновник, мэр города, рассматривая картины, отмечал понравившиеся и обратился к Горбаню с предложением продать те, что выбрал. Поинтересовался ценой.

— Тысяча марок! — коротко ответил отец. Надо сказать, что денег у нас тогда совсем не было,

поиздержались так, что в столовой ели одни каши. Я тихонько толкаю отца локтем, чтобы взял с иностранцев хотя бы сотню. А тот, будто не слышит, говорит мне: «Фашисты! Пусть платят!». Ни одна картина тогда не уехала в Германию.

Вернусь к еще одной картине Горбаня, которая по манере подачи и силе воздействия сродни первой. Для меня вообще они вместе — жесткий и мистически-провидческий диптих. Обнаженные тела людей как бы составляют естественную пирамиду. Уродливо, ожесточенно одни карабкаются вверх, сбивая других, и сами, сбитые кем-то, летят вниз. «Божественная комедия» — так Горбань много лет назад назвал полотно, а потом добавил: «Или «Борьба за власть».

Смысл предельно ясен. Во что бы то ни стало надо вскарабкаться вверх. По головам? Пожалуй-ста! Убивая и калеча других? Да запросто!.. Только бы оказаться наверху! Быть самым сильным! Самым первым! Самым-самым!..

В отличие от многих своих коллег тогда, в конце восьмидесятых годов прошлого века, Горбань кистью и красками делился своими мыслями об опасности пороков, разъедающих жизнь людей, и о том, как страшно, когда начинается подмена нравственных и моральных ценностей на другие: «Кто силен, тот и прав. Кто богаче — тот и умнее». Такое разделение одного народа на «белую» и «черную» кость способно обесточить и обессилить целый народ. Да-да, не только отдельный человек, весь народ как бы «гниет изнутри»...

Под конец не могу не вспомнить еще об одном рассказанном им случае. Он произошел с Горбанем в Берлине во время его военной молодости. Он шел по улице и зачем-то вошел в полуразрушенное здание на окраине города. Взгляд неожиданно остановился на привалившемся к стене убитом немце. Перевел глаза на лицо и окаменел. Оно было точной копией его самого. Будто взглянул на себя в зеркало или посмотрел в глаза смерти. Петра Семеновича тогда будто ветром вынесло из здания.

Никогда он не пытался понять, почему это с ним случилось. Единственное, что знал наверняка: Случилось Неслучайное. Даже в мирное время, когда пришла Победа и на земле установился мир, пройдя через ужас войны, забывать об этой опасности нельзя.

Работа над картинами «Фашизм» и «Божественная комедия» забрала много сил. — Картину мало выстрадать, ею надо переболеть, — говорил он. Лекарство в таких случаях у художника было одно: снова чистый холст, кисти и краски. Он становился к мольберту и писал. Но теперь уже красочный мир природы. Напоенные солнечным светом медовые дыни, пурпурные гранаты, изумрудные сады... Так, через свет и цвет возвращался к себе и к своим зрителям. Говорил, если цвета становится недостаточно, значит, у человека и счастья мало. Объяснял, что полноценно зрение работает только в детстве. Значит, людям, чтобы заново обрести радость жизни, надо как бы вернуться в детство.

И еще: цвет и свет — часть жизни в Боге. Что такое русская икона, как не совершенная гар-

мония цвета? Отсюда родом и его иллюстрации к Библии. Только жизнь в Боге и его Заповедях о жизни способна привести человека в равновесие, вернуть лад с самим собой. Но это уже другая, особая тема разговора...

* * *

Тропинка солнцем залита,
Прогрета летом.
Луг — в травах, бабочках, цветах —
Сим заповедан
Той, что, от счастья не дыша,
В его пределы
Вступает... И летит душа,
И тает тело.

Срывает ягодку рука,
Другую — следом.
И кучевые облака
По небу едут.
Что было, будет — кто поймет?
Об этом хватит.
Закрой глаза, пусть луг возьмет
Тебя в объятья.

Кузнечики сыграют джаз.
Ковыль стострунен.
Росинки крохотный алмаз
Красу июня
Являет. Словно невзначай,
Поймает душу
Лассо летящего луча.
Лежи, свое траве шепча,
И вечность слушай.



**Елена
ГОНЧАРОВА**

Поэзия



* * *

На содранных коленках ссадины
Прикрыты гольфами.
Мне шесть. Проходит по касательной
Урок по чтению показательный
На тему Родины.

Учитель Валентина Павловна
Во всем советчица.
Класс повторяет вновь и заново:
«Для человека в жизни главное —
Любить Отечество!»

Отечество... Из отвлеченного
В слова привычные
Ему пора. В позолоченные
Поля пшеничные,
В леса, где сплошь грибы да ягоды,
Айда с лукошками!..
Отечество, в котором тяготы
И те — к хорошему,
В котором даже скорым поездом
Землей нехоженой
К столице мчат пять суток с хвостиком
По свету Божьему.

Здесь время бьют часы настенные,
А плачут — песнями.
Здесь чудеса обыкновенные
И жизнь чудесная.
И детвора от делать нечего
Растет под дождиком,

А все болезни медом лечатся
Да подорожником.
Здесь место есть чертям и ангелам
На полках с книгами,
И счастье к речке целым лагерем
Несется с криками.

Здесь наслаждаются усталостью
Преодоления
И лет до ста живут без старости
И сожаления.
С гармошкой, верой и беспечностью
Готовы к подвигу,
Чисты душою перед вечностью,
Встают стеною за Отечество
И
любят
Родину.

* * *

А щебеты какие — Боже мой! —
Полеты, окрыление, паренье.
Июнь распахнут небом над тобой,
Огромной книгой облачно-кисейной.

Читай взапой, без остановки, пусть
И Лета канет в нынешнее это
Сейчасье: столько самых светлых чувств
Хранит твое щебечущее лето.

Высоко-голубое — синь да гладь —
Оно светло, легко и безмятежно.

С ним можно вовсе ничего не знать,
Что будет впереди, живя Надеждой.

С ним можно не печалиться зазря:
В сто сотен лет вперед оно размером.
Такого не сыскать календаря,
Чтобы вместил он лето мерой с Веру.

Чтобы все было заново и вновь,
И дальше продолжалось бесконечно.
Чтоб в сердце и душе цвела Любовь,
И щебетной — внимай, не прекословь! —
Жизнь слышалась во всех фигурах речи.

* * *

Папа, в мире, что светел и ярок был,
Без тебя наступила тьма.
Всё, что в жизни ценил, горячо любил —
С нами, здесь, а тебя зима

Забрала... Но наступит пора: ладонь
Ты протянешь да не во сне,
Из пречистых высот, неземных времён
Улыбнёшься, как прежде, мне.

Перестану печалиться о былом:
С нами ты, никуда не ушёл.
И звучит твой голос, вся мудрость — в нём:
«Пусть они богатеют своим добром,
А мы будем богаты душой!»

Пусть они богатеют своим добром,
А мы будем богаты душой.

* * *

Есть сокровенное в природе,
В ее нерезких
Чертах, сплетении мелодик
Под сенью леса,
В журчанье, шелесте и пенье,
Глуши и далях
Есть совершенство откровенья...
Надоедает
Нам ежедневно то и это
В этажных джунглях,
Но в лес войдешь: в нем все неспето,
Неспешно, чудно.
В нем тропы, заросли, поляны,
Валежник хрусткий.
Деревья воспоют: «Осанна!»,
Грехи отпустят.
Душа легка и сердце цело.
Черпни водицы
Прохладной, и с заблудшим телом
Родник сроднится.

* * *

Поберегите себя, пожалуйста,
И от любви, а не так, от жалости,
Не потому, что остра хула,
И завалила судьба напастями,
Спрятала счастье куда-то за стену,
А одиночества впрок дала.

Поберегите себя, беспамятны
Будьте к тому, что сшибает намертво:

К сору обиднейшей чепухи
Ссорам, предвзятости восприятия.
Не размыкайте с детьми объятия,
Как бы вы ни были далеки.

Поберегите себя. И помните
Что непроглядно в душе, как в комнате,
Где ни луча через ставни нет,
Быть не должно. Воссияй, особенный,
Всечеловечной любовью сотканный,
Вечный пречистый свет!

* * *

Как волна, в тебя бьюсь:
Пульс
Слышишь?
Сердце стучится в берег.
Берегу тебя. Берегусь.
Ты ли? Точно? Боюсь поверить...

Ты ли?
Тыльной стороной
Ускользящей в сон ладони
Провожу по щеке.
С тобой
Я: запомни меня, напомни

Мне, когда в тишине сорвусь
От тебя к островам и скалам,
Что волную тебя и бьюсь,
Как волна, бережок лаская.

Как волна...
Почему одна,
Если вон их — блестящих — сотни?
Потому что люблю до дна
В этом завтрачасе сегодня.

ПОБЕДНЫЙ СОЛДАТСКИЙ КОНВЕРТ

Солдатский конверт —
треугольник старательно сложенный,
Заполненный бисерным
или размашистым почерком.
Конверт долгожданный:
в нем мужество, радость тревожная,
Надежды, мечты —
все, что есть в человеке хорошего —
Все там. Прочитай,
словно зерна, что в пахоту брошены,
Взрастают слова —
о враге ненавистном, непрошеном,
О доме родном и любимой,
что ждет — не посмотрится
На тропку: все тоньше она
В темноте за околицей.

Еще в этих письмах —
веселые шутки солдатские,
Еще в них стихи и желанья
смешные, дурацкие:
«Сходить на рыбалку в ставок,
да в ночное с лошадами»,
«Сынку те медали отдать,
что заслужены папкою,

Пусть в играх сгодятся».
«Еще — в утро светлое, с росами,
Пройтись по двору
без портянок ножищами босыми».
«Корову сдоить,
Молока бы напиться парного»!..
«...Приказано бить нам врага.
Мы его бить готовы
И гнать, чтоб бежал,
и себя не жалеть без остатка».
«Мать, бедную, жаль,
ей приходится нынче несладко.
Но это сейчас,
а уже очень скоро Победе
Быть в жизни у нас
и в моем треугольном конверте».

Быть в жизни у нас
И в победном солдатском конверте!

УВИДЕТЬ И ПОНЯТЬ

Глава из романа
«Сила тайного досье»

Иногда время течёт, как равнинная широкая река с почти незаметным течением. Порой же оно несётся, словно тающий снег с горных перевалов, бурля и пенясь. Весна и лето семьдесят четвёртого года напоминали именно стремительный поток.

На майские праздники, хотя до защиты дипломного проекта оставалось всего пара месяцев, а он был только начат, Сашка решил сходить в горы и повёл группу новичков по горному маршруту второй категории сложности в Восточных Саянах.

Поход обещал быть лёгким и бодрящим, как и набирающая силу весна.

Так всё и начиналось, когда они весёлой навьюченной толпой сошли с автобуса в небольшом курортном посёлке Шира, прижавшемся к снежным отрогам. И когда шли под первый перевал, который, по словам



**Виктор
КУСТОВ**

Проза



уже бывавших здесь, «на велосипеде можно пере-ехать». И когда ночевали на границе, где деревья встречались с девственным, нетронутым никем белоснежным полотном. Правда, уже в тот первый вечер в горах полуметровый снег на склоне заставил грустно посмеяться над характеристикой «велосипедного» перевала и породил пока неясное, но явное предчувствие неприятностей впереди.

С первыми рассветными лучами они бодро ступили на снежный наст и к тому моменту, когда солнце набрало силу и снег стал проваливаться, были почти на половине пути к перевалу. Правда, вторая половина отняла не только силы, но и почти всё дневное время, они шли практически по траншее, пробиваемой в глубоком снегу. И тем не менее до темноты успели спуститься до границы леса и эту ночь провели тоже вполне комфортно.

Второй перевал был и по описаниям посложнее, но то, что они увидели, выйдя на хребет в общем-то по довольно сносному склону, только пришлось преодолеть пару ледопадов на реке, по которой поднимались, превзошло ожидания. Скорее всего, описывали перевал летом, тогда спуск даже по отвесной скале, покрытой глубокими трещинами и осыпями, не является таким уж большим препятствием. Но теперь, под снегом, этих лёгких спусков не было видно. Там, где не вздымались отвесные стены, матово поблескивала глянцевая корка снежной поверхности, недвусмысленно демонстрируя свою лавиноопасность.

Сашка попытался спуститься в том месте, где высота, отделяющая их от пологого склона, была

минимальной. И хорошо, что пошёл на разведку со страховкой. За пару метров до края снежный карниз под ним вдруг обвалился и с устрашающим шумом рухнул вниз, оставив его висеть над бездной. Ребята не растерялись, вытащили его быстро. Но пока висел, прижавшись к обледенелой скале, успел оглядеть стену в обе стороны и утвердиться в опасности спуска.

Так и не приняв никакого решения, остались ночевать на перевале. Поужинали галетами и чаем.

Среди ночи проснулись от мерного стука капель и удивились: в начале мая на высоте более двух тысяч метров дождь не мог идти. Но он шёл.

Рано утром, пройдя по перевалу в обе стороны, Сашка выбрал единственно возможный, на его взгляд, спуск по узкому кулуару, похожему на песочные часы, сужающемуся в центре между двух скальных выступов и затем вновь расширяющемуся уже до самой границы леса. Поблёскивающий в рассветных лучах ферн, прошедший ночной дождь и необычайно тёплое солнечное утро — всё говорило о притаившихся лавинах. Но остальные склоны были ещё опаснее: спускаясь по ним, запросто можно было скинуть многотонный снежный карниз.

Он проинструктировал ребят, чтобы шли все точно след в след, ни в коем случае не пытались пересечь склон, и поторопил; теперь нельзя было медлить, пока солнце совсем не разогрело снег. И, растянувшись в цепочку на приличном расстоянии друг от друга, они начали спускаться, выбивая строчку следов точно по центру кулуара (словно струйка песка в часах).

Первым шёл Сашка. За ним — комиссар Генка Струков, невысокий, очастый, худой, но жилистый и настёрный второкурсник с машиностроительного факультета. Это был его первый поход, как, впрочем, и большинства из шести парней и четырёх девчонок, поэтому и маршрут выбрали простенький и короткий. Но кто же знал, что на этом простеньком маршруте окажется так много сложностей. Возможно, только бурятский бог Бурхан, жертвенное дерево которому с завязанными на ветках разноцветными тряпочками, патронами и монетками возле корней они видели перед перевалом и откуда ребята взяли пару старых незнакомых монет, может, оттого всё так и пошло...

Замыкал растянувшуюся почти на половину склона цепочку длинный Гоша Саблин, первокурсник-энергетик. С его-то слов потом и составили всю картину, которую тот созерцал, проехав над всеми остальными девятью туристами, которые барахтались, появляясь и исчезая в снежной массе, похожей на взбитые сливки. Первые, командир и комиссар, так на одном месте и провертелись, как раз между скальными прижимами, оказавшись в итоге последними, и оба чудом выжили, не задохнулись в лавине, не остались на глубине, хотя там побывали, успели пролистать прожитое и удивиться разноцветным шарам, задыхаясь...

Но когда Сашка откопался, вытащил из-за раздутых до боли щёк спрессованный кровавый снег, выхаркнул его, выплюнул выбитые зубы, он пережил настоящий ужас, не увидев никого в окружавшем его, слепящем до слёз, снежном месиве. Тогда он понял — вот так сходят с ума, не в силах

пережить бессилие одиночества, — и завыл угробно, потерянно, озирая застывшие равнодушно горы, вззирающие на него сверху вниз, словно мстя за те редкие минуты, когда он разглядывал их сверху, переживая своё превосходство... И, наверное, на этот раз они бы посмеялись над ним до конца, если бы в это мгновение не появился выше по склону шарахающийся из стороны в сторону, словно слепой, Генка Струков. И он действительно был слепым, потому что очки остались в лавине, как и их с Сашкой рюкзаки, ледорубы, верёвки...

Генка тыкался вправо-влево и нашёптывал далеко разносящееся в звенящей тишине: «...очки... Где же очки...»

И тогда Сашка закричал, избавляясь от только что пережитого страха сумасшедшего одиночества: — Генка! Ищи остальных! Ищи ребят!..

И, загребая руками, торопясь, засновал по остывающей и начинающей смерзаться лавине, понимая, что сейчас правильнее было бы побежать к выступающим чёрным незыблемым островкам — скалам, что лавина может пойти дальше. Но он не мог спастись один или даже вдвоём с Генкой. И они металась по лавине, в спрессованных мгновениях натываясь то на одного, то на другого выжившего, пусть и побитого, стонущего, но живого, и отсылая их к скалам, к скалам...

Гоша Саблин, последним завершивший скольжение, брёл сейчас в их сторону снизу, с языка лавины, не дошедшей пару метров до нового уступа, чтобы пойти дальше уже без остановок, налететь на первые деревца, заломать их, смешать с собой и вынести в долину, тоже натываясь на ребят, за-

ново рождающихся на глазах из этих твердеющих снежно-пенных волн, что-то кричал ему, и он кричал в ответ. И всё пытался посчитать гонимых к скалам. И, наконец, сойдясь с вдруг упавшим на колени Гошей, обламывая ногти, стал откапывать уже обтянутую ледяным корсетом Надю Соломатину, лицо которой, на глазах наливающегося синевой, только одно и торчало из лавины.

Они скребли стремительно смерзающийся снег, то ли поскуливая, то ли причитая, добираясь до невидимого тела, и уговаривали её выдержать, дышать во что бы то ни стало... И, наконец, достали, выгнали... Оставляя на белом ярко-красные пятна падающих с пальцев капель, задёрнули её руки вверх-вниз, затрясли, всё так же уговаривая не умирать. Сашка впился в её холодные губы, не помня, вдыхать или выдыхать надо в подобных случаях, или просто крепко-крепко целовать... Наконец, она вздохнула, закашлялась, затряслась, выгибаясь и шумно дыша, и они потащили её, ничего не понимающую туда, к скалам, на чернеющих выступах которых уже расположились остальные.

Раз, два, три, четыре...

Сашка считал их, тыча пальцем, с которого всё ещё срывались на снег яркие капли, и никак не мог сосчитать. И ему стали помогать и Генка, уже пришедший в себя и приноровившийся к туманным видениям всего вокруг, и самый трезвомыслящий Гоша, который проехал над всеми ними, оттого всё происходящее воспринимал как продолжающийся интересный фильм, единственным зрителем которого (если не считать гор) ему довелось стать. Он-то и уверил, что их десять, как и было.

И ни одного рюкзака. И что эти рюкзаки он видит на лавине.

И тогда Сашка пошёл к ближайшему, отдавая себе отчёт, что лавина может пойти в любое мгновение, и замирая при каждом шорохе смерзающейся массы. Дошёл, заторопился обратно, выбрался на твердь.

Это был Генкин рюкзак с притороченной к нему верёвкой.

Обвязавшись ею, оставив второй конец ребятам и веря, что теперь они в случае чего обязательно выдернут его к спасительной кромке, Сашка стал расхаживать по лавине, собирая остальные рюкзаки.

Как ни странно, но лавина отдала их все. Взяла только ледорубы, пару верёвок, палатку, притороченную к Сашкиному рюкзаку, котелок, который был у Генки. И Генкины очки не отдала, хорошо что в рюкзаке у него были запасные.

День уже перевалил за половину. Небо стали затягивать облака. Снизу, с долины, потянул ветерок. Скалы были лишь островком посередине песочных, а точнее, оказавшихся лавинными часов. И им ещё нужно было дойти до таких желанных деревьев и безопасных склонов. И не было иного пути, кроме как рассекая лавину, замершую перед очередной ступенькой, после которой она могла бы катиться уже до самой долины.

Сашка пошёл впереди, Гоша — позади всех. Их связывала теперь одна веревка, а между ними, судорожно вцепившись в шаткую опору, шли остальные восемь, твёрдо помня, что если лавина снова пойдёт, главное — не упустить этот спасительный

конец, тогда они будут все вместе и смогут помочь друг другу...

Но лавина больше не пошла.

Они спустились к деревьям и до темноты шли, убегая дальше и дальше, всё ещё опасаясь, что лавина может их догнать. И наконец остановились на берегу горной, не очень шумной в этом месте речушки, с берегов которой снежных склонов уже не было видно.

И тогда выяснилось, что все они биты, мятые и некрасивы от синяков и ссадин и что аптечка давно уже ходит по рукам, а успокоительных средств почти не осталось, и по-хорошему всем им сейчас надо бы заглянуть в медпункт, а то и отлежаться на больничной койке. Но впереди был ещё неизбежен, как рок, третий перевал: сейчас они находились в долине, параллельной той, где этим вечером после ужина собирались на танцы праздные курортники.

Сашка с комиссаром долго сидели у догорающего костра над схемой маршрута, пытаясь найти иные варианты выхода к людям, но многодневный путь по речной долине вниз по течению к ближайшему населённому пункту был явно им не по силам.

...Они преодолели новый перевал, не сложный, но такой же белоснежный и лавиноопасный, преодолели собственный страх и вышли в долину, где по зеленеющим тропкам прогуливались скучающие курортники. Живописное появление побитых, в порванной одежде туристов, было столь занимательным развлечением, что отдыхающие охотно присоединялись к ним, шли следом, словно сами

только что спустились с гор и могли с полным правом спеть:

Здесь вам не равнина, Здесь климат иной,

Идут лавины — одна за другой,

И за камнепадом снова ревет камнепад... И можно свернуть, обрыв обогнуть,

Но мы выбираем трудный путь, Опасный, как военная тропа...

В курортный посёлок они вошли в окружении сердобольно настроенной толпы и уже знали, что не они первые, что, правда, не столь помятыми, но вчера вернулись альпинисты, которые наблюдали лавину, а оттого и отказалась от восхождения.

В местном медпункте их осмотрели, помазали йодом ушибы, посоветовали отлежаться. На автостанции сердобольно разрешили переночевать в здании, но они долго в этот вечер сидели на окраине посёлка возле костра, глядя на живое потрескивающее пламя и соглашаясь, что:

В суету городов и потоки машин

возвращаемся мы, — просто некуда деться...

...Потом были десять новых дней рождения. Они ходили друг к другу в гости, пили вино, пели песни, хорошо понимая друг друга и совсем не понимая суетливых мелочных сокурсников, озабоченных сущими пустяками — какими-то зачётами, экзаменами. Они даже не понимали своих некогда любимых, как те не понимали их. И Маша стала отдаляться от Сашки. Впрочем, он тоже теперь относился к ней более ровно, не разделяя её энергичной целеустремлённости. И даже когда узнал, что она встречается с Черниковым: Юлю теперь видели с Олегом, у них с Черниковым, похоже, шло

к разводу, она ушла от него в общежитие, отнёсся к этому спокойно и даже с некоей тайной радостью освобождения от давних обещаний и планов...

Он тоже не был безгрешен. По вечерам они гуляли с пухлощёкой и не утратившей после лавины своей смешливости первокурсницей-химичкой Соломатиной. Гуляли допоздна вдоль берега Ангары или по центру города, а потом перед общежитием он её подолгу тискал и целовал до боли в губах, словно таким образом компенсировал свой страх, когда там, в лавине, возвращал её к жизни. Порой ему даже казалось, что она нужна ему, и она была не прочь лечь с ним в постель, но никак не получалось найти уединённое место. У них так ничего и не получилось, потому что она не сдала два первых экзамена, засела за конспекты, да и ему стало некогда гулять — надо было форсировать дипломный проект.

Володя Качинский взялся вычертить ему схемы — он был в ладах с черчением, и это делало реальной защиту в последний день июня, как было определено по графику. Он чертил, а Сашка штудировал учебники и конспекты, писал пояснительную записку, забросив и дневник, который вёл несколько лет, и сочинительство. Правда, нашёл время и под нудные напоминания Баяра, который теперь регулярно бывал или у Сергеева, или у Черникова, показал исправленный рассказ Дмитрию Сергеевичу. Тот при нём просмотрел исправления и позвонил Машкину, изъявившему желание рассказ почитать. Сашка договорился встретиться с ним в институте. Оказалось, что Лапшаков давно уже просил Машкина дать интервью для газеты и тот, наконец, должен был зайти в редакцию.

Перед интервью они и встретились.

Рассказ Машкин положил в кожаную папку, пообещав особо не затягивать с чтением и уже через недельку сообщить своё мнение.

— Если Дмитрию Сергеевичу понравился, значит, и мне должен, — обнадёжил он. — Так что резолюцию наложу и отдам в альманах. — И всё же добавил: — Если, конечно, он того стоит...

Сашка отнёсся к этому обещанию спокойно. Его вполне устраивало, что рассказ уже читали, что он оценён писателями. И он уже порой сомневался, что сам написал его, потому что больше сюжетов в голову не приходило и все попытки сочинить что-нибудь заканчивались уничтожением исписанных неказистыми фразами листов.

Конечно, увидеть рассказ опубликованным в альманахе хотелось, но теперь он уже мог подождать, желаемую порцию славы он получил.

...Качинский делал чертежи у него в общежитии, куда они притащили из комнаты для занятий кульман, задерживался допоздна, он уже досрочно сдал экзамены и перешёл на пятый курс. Иногда они пили вино и Володя читал свои стихи. Они были неплохие, вполне пригодные для публикации в том же альманахе, Владимир Скиф уже написал положительную рецензию, а Лиля Ларик подготовила большую подборку для молодёжной газеты, которая вот-вот должна была выйти.

Качинский познакомил Сашку с Леной Ждановой, невысокой русоволосой девушкой с короткой причёской и с глазами пронзительной голубизны. Он писал ей стихи, при всех клялся в любви. Она в ответ улыбалась и соглашалась гулять исключи-

тельно вместе с подругой, которую звали Милой. Была та выше и плотнее, более коммуникабельная, охотно поддерживала любой разговор и, похоже, ей нравился Качинский, поэтому гулять шла охотно. Обе они учились на четвёртом курсе электротехнического факультета, изучали ЭВМ, готовились к экзаменам серьёзно и принимали приглашение исключительно после сданных экзаменов. Сашка иногда составлял компанию. Вчетвером ходили в пельменную или в кафе, а после сдачи последнего экзамена даже забрели в ресторан на железнодорожном вокзале.

После ресторана у Милы с Володей нашлась своя тема для разговора, у Лены с Сашкой — своя, и они, разбившись на пары, долго гуляли по скверу, по набережной, делясь планами на лето. Мила уезжала домой в Улан-Удэ. Лена тоже собиралась съездить к родителям, недавно переехавшим из Байкальска в Красноярский край на строительство Саяно-Шушенской ГЭС. У Сашки через неделю была защита, а что дальше будет, он совсем не думал. Распределился он в научно-исследовательский институт геологии, геофизики и минерального сырья, который открылся в городе совсем недавно и нуждался в специалистах. Правда, чем он там будет заниматься, пока понятия не имел, собираясь выяснить это после защиты.

Уже получил диплом — тёмно-синюю книжечку и поплавок-значок — Аркаша Распадин. Распределился он в Усолье-Сибирское, но сам сходил в военкомат и изъявил желание пойти послужить. Ему с радостью пообещали осенью забрать в армию. Он поспешил сообщить об этом по месту распреде-

ления, где только вздохнули на этот счёт, молодые специалисты там нужны были позарез, но спорить с военкоматом не решились.

Аркаша же перед армейскими тяжёлыми буднями решил отдохнуть на полную катушку. Его молодая жена за это на него злилась, сразу после экзаменов уехала к своим родителям и регулярно вызывала его на междугородние переговоры. Сашка знал об этом, потому что перед собственной защитой зашёл поздравить Аркашу с дипломом и вместе с ним пошёл на переговорный пункт на очередное телефонное свидание. По лицу вышедшего из будки Аркаши он понял, что молодые опять ни о чём не договорились.

— Чего вы детей не заводите, — брякнул, не подумав.

— Успеем, — отмахнулся Аркаша и всезнающе посоветовал: — Ты, старичок, не спеши жениться, погуляй. Плохо, когда недогуляешь. — И проводил взглядом девицу в обтягивающей короткой юбке.

...Лето уже всю разгулялось, все девушки были обворожительны и до сердцебиения завлекательны, корпеть над запиской и тем более чертежами в душной комнате совсем не хотелось, и Сашка уже согласился с мыслью, что ему совсем и не нужна отличная защита, даже ничего страшного не произойдёт, если не защитится и на «хорошо», главное — просто защититься. Таким образом, обосновав скромными притязаниями меру своих усилий, он склонялся к тому, чтобы бросить всё как есть, благо в целом и записка, и чертежи были готовы. Но в последнюю неделю перед защитой Качинский взял над ним шефство, заставил вникнуть

в вычерченные им агрегаты и уралмашевскую буровую вышку в разрезе, повторить все его объяснения разрезов и выносок. Ему это было в радость, он сдал все экзамены, был свободен и беспечен, каждый день клепал по стиху — и всё о любви к прекрасной незнакомке, которая представляла перед ним то в образе Елены (и обязательно «прекрасной»), то во вполне реальном обличье Милы («реально завлекательной»), то в романтическом ореоле какой-то Оли («трепетной»).

Его поэтическая любвеобильность, как и менторский тон, начинали раздражать Сашку, но разругаться они не успели — настал день защиты.

Он был знойный и солнечный. В аудитории жарко, несмотря на распахнутые окна, через которые доносился приглушённый шум улицы. Из-за него приходилось напрягать голос и порой повторять ответы на вопросы членов госкомиссии. Среди них самым ехидным был Затонский, ставший доцентом. С Софьей Максимовной, Сашкиной учительницей математики, у них ничего так и не получилось, она уехала в Новосибирский академгородок преподавать математику вундеркиндам и там вышла замуж. Затонский год назад защитил кандидатскую по промывочным растворам и теперь активно пропагандировал свои представления, готовя почву для докторской.

Сашка чудом угадывал ответы на его вопросы и старался отвечать как можно многословнее, создавая видимость полноты знаний и затягивая время. Больше, чем хитрых вопросов Затонского, он опасался необходимости давать пояснения к развешанным чертежам, с опаской бросая взгля-

ды в сторону желчного доцента Хворостова, преподававшего курс по спецтехнике и оборудованию. Тот ещё на третьем курсе определил своё отношение к Сашке тем, что во всеуслышание заявил о его не техническом складе ума и никогда ни за одну работу больше четвёрки не ставил, даже если тот отвечал на «отлично». «Всё равно это тебе не пригодится», — предрекал он.

Но Хворостов задал всего лишь один и очень простой вопрос — о методике расчёта предельной нагрузки на вышку и, поглядывая в окно, явно предался своим мыслям, предоставив возможность определить отношение к претенденту на диплом остальным членам комиссии.

Заведующий кафедрой Владимир Ильич Завада, заканчивающий докторскую диссертацию и, похоже, уже осознающий, что и ему скоро стоять, подобно студенту, перед длинным рядом оппонентов, попросил обосновать предлагаемую им организацию труда на буровой. Это Сашка лучше всего знал, ему это было действительно интересно, он стал уверенно отвечать. И неожиданно для себя защитился на «отлично».

Хотя диплом у него всё равно получался не «красный», на младших курсах нахватал «удов», тем не менее это обрадовало его, а главное — родителей, которым теперь было чем гордиться перед своими знакомыми.

Разбросанные по разным городам, получили дипломы и его одноклассники. Ирка Сверлова в своём Питере стала дипломированным юристом и собиралась замуж, опять же за юриста, наверное, за того самого настырного аспиранта, ныне канди-

дата наук. Алка Тихомирова — по слухам, вроде уже разошлась, ушла от своего Гнеденко и из университета, не закончив последнего курса — работала в какой-то газете в Киеве. Зина Малькова-Шатохина закончила с «красным» дипломом. У неё всё было замечательно, она оставалась в Томске преподавать в своём же институте. Светка Пантелеева пошла по комсомольской линии, учась заочно.

Колька Белкин расстался со своей старухой, играл за баскетбольную команду в Красноярске и заочно учился. Валерка Чайка переехал в Норильск и работал на угольном разрезе бульдозеристом.

Это всё он знал из писем родителей, которые каким-то образом умудрялись получать информацию о его одноклассниках, хотя родные многих из них уже уехали на материк. Об Аркаше Распадине и Диме Горбыне он знал лучше них: первый отдыхал, предаваясь ничегонеделанию и изучению обнажённых девиц на берегу Ангары в ожидании призыва в армию, а второй недавно уехал на преддипломную практику в геодезическую партию на Дальний Восток — исследовать место под строительство будущей Зейской гидростанции.

Сашка позвонил Ирке. Они покричали в трубку про свои успехи и договорились не забывать друг о друге. И она пригласила его на свадьбу осенью, пообещав сообщить дату телеграммой на адрес его НИИ.

— Только без приглашения не приезжай, — предупредила она.

— Почему? — поинтересовался Сашка.

— Боюсь, соблазнишь. Сколько уже не виделись, хотя бы фотку прислал.

— А вот приеду и соблазню, — в тон отозвался он, вполне допуская, что Ирка сейчас могла быть в его вкусе.

...Вечером в день защиты он, Качинский, Лена и Мила решили отметить появление нового дипломированного специалиста. Хотели попасть в престижные рестораны «Ангара» или «Сибирь», но мест не было даже в железнодорожном, и они зашли в кафе. Ужин получился каким-то суетливым, шумным, совсем не торжественным, хотя Качинский и пытался придать ему блеск лицейских вечеринок, как он их представлял, читая стихи, предлагая шуточные тосты, в общем, старался как мог создать настроение. Мила ему с удовольствием подыгрывала, а Елена больше молчала и улыбалась, поглядывая то на виновника торжества, то на Володьку, то на подругу. Но чаще всё же — на неутомимого Качинского.

Потом они погуляли по набережной, встречаясь с такими же весёлыми компаниями себе подобных и громогласно обмениваясь поздравлениями. От этого настроение улучшилось, и всё же, ощущая неудовлетворённость от такого финала своей студенческой жизни, Сашка предложил считать этот вечер репетицией и завтра пойти в ресторан. Но это предложение перебила Мила более романтической, понравившейся всем идеей, предложив отметить это исключительное событие на Байкале, отправившись туда в ближайший выходной день. Идея вызвала оживлённый обмен мнениями. Володя сказал, что если ехать, то с ночёвкой и гитарой, чтобы посидеть у костра, попеть песни и вообще, чтобы запомнилось на всю жизнь.

— И чтобы Сашка сразу почувствовал себя геологом-романтиком, исследователем белых пятен и бродягой дальних дорог, — с патетикой провозгласил он, ставя последнюю точку в обсуждении.

Сашка охотно согласился, хотя сам себя не очень-то относил к настоящим геологам. И распределился он в НИИ, а не в экспедицию, и профессия буровика больше связана с сидением на одном месте: пока скважину пробуришь — год, а то и два пройдёт.

Расстались возле общежития девчонок уже далеко за полночь.

На следующий день он пошёл в редакцию, чтобы попрощаться с задёрганным и даже на вид постаревшим за этот год Лапшаковым, с которым они теперь вроде были в одном сословии — дипломированных специалистов, а оттого могли уже говорить на равных, а не как редактор с внештатным сотрудником, и столкнулся с ним в дверях.

Тот замер, некоторое время разглядывая Сашку и одновременно что-то соображая, наконец, скороговоркой поздравив с защитой диплома, пожаловался, что они с женой собрались вместе съездить отдохнуть в Пицунду, а его отправляют со студенческим строительным отрядом в ГДР, и теперь дело идёт к разводу.

Сашка поразился, как можно отказываться от такой замечательной командировки, к тому же побыть бойцом интернационального отряда почётно, да и подзаработать можно.

— Мы уже путёвки достали, — чуть не плача, жаловался Дима. — Я не против, сам понимаешь, а жена — в слёзы, как это без неё. Разводиться собралась.

И вдруг замер, осенённый идеей.

— А ты теперь отдыхать собираешься? — вкрадчиво спросил, выжидательно глядя на Сашку. — В городе останешься или уедешь?

— Пару недель в городе поболтаюсь, — ответил тот. — Потом слетаю к родителям, порыбачить, комаров покормить.

— Планов, значит, у тебя нет, — уточнил Лапшаков и просительно произнёс: — Ты подожди меня, посиди здесь. Я даже редакцию закрывать не стану.

— Надолго?

— Нет, я мигом.

И стремительно побежал по коридору.

...Спустя полчаса он вернулся, его лицо озаряла широченная улыбка и настроение было совсем другим.

— Тебя Замшеев очень хочет видеть, — произнёс многозначительно. — Пошли. И, ничего не объясняя, повёл Сашку в комитет комсомола.

Замшеев начал было с привычной преамбулы о необходимости исполнения комсомольского поручения, о подвигах комсомольцев в трудные годы становления государства, но под нетерпеливое топтание Лапшакова неожиданно быстро свернул концовку и заявил, что очень нужно помочь редактору многотиражки и просто хорошему парню Диме сохранить молодую семью и вместо него отправиться в заграничную командировку. И что такая замена принципиально с Цыбиным обговорена, у парткома возражений по его кандидатуре нет. Комитет комсомола тоже возражать не станет.

Сашка ушам своим не поверил.

— Только сегодня нужно сдать документы на оформление, — напомнил явно счастливый Лапшаков.

— А когда ехать? — уточнил Сашка, хотя отказываться совсем не собирался, и даже наоборот, был готов сделать всё, чтобы поездка не сорвалась.

— Через две недели.

— Я не против.

— Тогда, Дима, введи его в курс, пусть немедленно оформляет документы, — скомандовал Замшеев, тоже явно довольный решением вопроса.

За суетой последующих дней Сашка совсем забыл о своём обещании свозить ребят на Байкал. Да, признаться, и времени не было, для поездки за границу нужно было собрать немалое количество всяческих справок. И он мотался по кабинетам, писал, заверял, утверждал, переутверждал, а ещё ходил на инструктажи по технике безопасности и ещё невесть по чему, знакомился с ребятами, проходил медкомиссию. С командиром отряда, старшим преподавателем со строительного факультета, длинным и сутулым Венямином Прокопьевичем Жигулиным и комиссаром, соблазнительной делегаткой последнего комсомольского съезда Наташей Позёмной, недавно вышедшей замуж, но производящей впечатление доступной и мягкой активистки, его познакомил Замшеев в своём кабинете, назвав Сашку политруком. И, явно довольный таким сравнением, напутствовал:

— Так что, можно сказать, политическую сторону мы усилили. Вот с вас троих, если что, и спросим.

Наконец, все формальности были улажены, до отъезда оставалось три свободных дня, и Сашка понял, что успеет выполнить своё обещание.

В прокатном пункте отобрал рюкзаки и палатку. Наметил место, предварительно расспросив ребят в турклубе, куда лучше ехать: пару часов на электричке, потом километров десять с гаком вниз по распадку — и на старую железную дорогу, которую строили в начале двадцатого века ещё при царе. Часть её, идущая вдоль Ангары от Иркутска до Байкала, попала под затопление во время строительства Иркутской ГЭС. Новую дорогу пробросили прямо к южной оконечности Байкала, к Слюдянке, а кусок старой, под-над озером, проходящей через множество тоннелей, остался не у дел.

— Места — красивее нет, — заверяли его. — И главное, первозданный покой, девственная природа, никаких празднующихся. Пара-тройка умирающих маленьких посёлков на десятки километров, а люди бесхитростные, если что — и накормят, и спать положат. Дрезина с продуктами два раза в сутки пробежит — вот и вся цивилизация. Не пожалееете.

После таких рассказов ему самому захотелось взглянуть на эти места без всякого повода, а то в походы за сотни километров ездят, а тут, можно сказать, рядом — такая старина.

Но оказалось, что Качинскому нужно срочно ехать домой, он уже и билет взял, Мила переела мороженого и лечила горло. Могла поехать только Лена Жданова.

— Тогда я беру рюкзак и палатку и мы едем вдвоём? — вопросительно произнёс он в ответ на её согласие.

— Хорошо, едем, — подтвердила она, окинув его смеющимся взглядом.

...Ранним утром они сошли с электрички на маленьком таёжном полустанке, миновали небольшую деревушку и по еле заметной тропе пошли по распадку вниз, в сторону Байкала.

Июльский день набирал силу. Терпко пахло свежей хвоей и лесными душистыми цветами, которые в изобилии желтели, голубели, белели на склонах, куда не забрались деревья. Негромко журчала речушка, вдоль которой они почти всё время и шли. Оводы с предупреждающим жужжанием то налетали, то куда-то уносились, стоило лишь пахнуть освежающему ветерку. Елена несколько раз предлагала ему разделить ношу, с каждым километром становящуюся всё тяжелее и тяжелее, но он не соглашался. Впрочем, на этот раз рюкзак действительно был игрушечным по сравнению с тем, что приходилось таскать в походах, и если бы не пот, струйками сбегавший по лицу и пропитавший рубашку, да надоедливые оводы, это можно было бы считать прогулкой.

Сделав пару коротких привалов, к полудню они вышли на поляну, покрытую разнообразными цветами, с которой хорошо просматривались высокая железнодорожная насыпь, арка каменного моста над речушкой, за которой голубел Байкал. На поляне всюю хозяйничали лесные пчёлы и потрескивали сухими крыльями стрекозы. Её обрамляли невысокие сосны вперемежку с берёзами, с трёх сторон закрывали лесистые склоны. Поляна была настолько уютной, что Сашка без слов понял Елену, не без облегчения сбросил рюкзак в тень раскидистой сосны.

— Здесь остановимся?

— Да.

— На Байкал не пойдём? — уточнил он.

— Потом...

Она пошла по поляне, по пояс утопая в высоких цветах, и, глядя на её лёгкую фигуру среди этого шального разноцветья, Сашка пожалел, что не умеет рисовать...

Он поставил палатку в тени сосенок, недалеко от речушки. Они поели печенья, запивая его прохладной водой, потом пошли в сторону насыпи.

На прокалённой, пахнущей маслом и соляной узкоколейке, с которой открывался вид на спокойный, нежившийся под солнечными лучами Байкал, посидели, вглядываясь в горизонт и прислушиваясь к таёжным звукам, отчего-то всё ожидая услышать звук дрезины, свидетельствующий о наличии жизни на этой явно редко тревожимой насыпи. Но так и не дождавшись, пошли вдоль берега, обжигая босые ноги о горячие рельсы и смолистые шпалы, соревнуясь друг с другом, кто больше пробежит, не отступаясь. За поворотом увидели тёмный овал тоннеля и, подзадоривая друг друга, вошли в него. Сразу стало прохладнее, тишина посуровела, заставляя их замолчать и прислушаться, словно удерживала в себе оставшиеся в прошлом и вошедшие в камень удары кирок, звон кандалов, стоны, а потом — паровозные гудки, лязганье вагонных сцепок, восторженные возгласы пассажиров и аханье девиц, когда поезд втягивался в очередное тёмное подземелье...

Этот тоннель оказался не очень длинным, но за ним виднелся ещё один, а там, дальше, находились ещё и ещё... Они договорились назавтра

пройти до какого-нибудь посёлка, а пока вернулись обратно к палатке и занялись приготовлением ужина. Вернее, занималась этим Елена, используя запасливо прихваченные ею консервы, ожидая Сашку с уловом. Тот же, поглядывая на краснеющий предзакатный край неба, торопливо прыгал по камням в устье речушки, удивляясь, что так и не может поймать ни одной, пусть самой заваливающей рыбки...

Но ужин и так получился замечательный: картошка с тушёнкой, сладкий чай — и всё это с привкусом дымка, под звёздным небом, пусть и с комариным назойливым писком, вдвоём с красивой девушкой — он это понял вдруг, глядя на неё в отблесках пламени и втайне радуясь, что кроме них здесь никого больше нет.

Они выпили немного вина, поздравляя друг друга с замечательным вечером, с таким звёздным небом над головой, с дурманящими таёжными запахами, с чарующим журчанием реки, со всем тем, чего за каждодневной суетой они так давно не видели и уже забыли, что всё это, знающее тайну вечности, существует...

Потом лежали в палатке, каждый ощущая тепло другого, хотя почему-то старались не прикасаться друг к другу, а ему этого очень хотелось, и под потрескивание затухающего костра, крики неведомых ночных птиц и звуки невидимых зверей разговаривали, всё придвигаясь друг к другу. Говорили обо всём, что приходило в голову.

И заснули, прижавшись друг к другу...

Утром он проснулся в одиночестве. Вылез из палатки, испугавшись отсутствия Елены, и увидел,

что она сидит на насыпи, глядя на поднимающееся над Байкалом солнце. Торопливо поднялся на насыпь и присел рядом.

— В той стороне — Байкальск, — сказала она, продолжая смотреть на ровную гладь озера. — Мы приехали, когда строительство комбината только начиналось, жили в деревянном бараке, тайга была совсем рядом. Барак стоял среди деревьев. Мы так замечательно жили... Летом собирали ягоды, грибы. Их было очень много. Зимой катались на лыжах, коньках...

— Купались? — зачем-то спросил он.

— Купались, — кивнула она. — Залетали в воду, окунались, а потом бегом к костру греться. Там вода всегда холодная.

— Я практику проходил после первого курса на этой стороне, там, дальше на север, — он махнул рукой в сторону тоннеля. — Пробовал купаться. В заливе возле Ольхона ещё ничего, а на Байкале — обжигает...

— Пойдём.

Она поднялась и пошла к озеру.

Встала на край скалы, глядя в прозрачную воду. Он встал рядом, готовый удержать её или прыгнуть следом. Где-то глубоко-глубоко, возле самого дна, а казалось, совсем рядом, лениво плавала стайка рыб. Может, омуль.

— Я люблю Байкал.

— А я думал тебя удивить, когда вёл сюда...

— У тебя это получилось.

Их взгляды встретились. И Сашку вдруг захлестнула волна необъяснимой радости, словно между ними в одно мгновение исчезли все преграды и условности.

— Хорошо, что ты предложил пойти с тобой, — сказала она. И, помолчав, добавила: — Я никогда не забуду эту старую дорогу...

— Мы пойдём сегодня по ней?

— Не сегодня, — виновато улыбнулась она. — Я совсем не выспалась, встала рано-рано, до рассвета. А нам ещё идти на электричку. В следующий раз.

— Хорошо, в следующий раз, — согласился он. — Ты обещаешь?

— Да.

— А теперь поспи, — сказал он. — А я пока обед приготовлю. Елена послушно залезла в палатку. А он заторопился к реке.

... На этот раз ему повезло. Он поймал пару небольших хариусов, и когда Елена проснулась, её ждала уха.

Они пообедали, поглядывая друг на друга и беспричинно улыбаясь. Стали собираться, охотно помогая друг другу, и когда их руки случайно касались, Сашку переполняла радость.

Эта радость не покидала его и всю обратную дорогу.

Сидя в электричке, глядя на задремавшую Елену, он никак не мог насмотреться на её лицо, ловя себя на охватившем его и неведомом прежде чувстве нежности к этой девушке. И вдруг понял, что теперь без Елены ему будет тоскливо и одиноко...

...В последний день перед отъездом в ГДР всё порывался пойти к Елене в общежитие, но возникла масса дел, долгое собрание отряда, на котором вспоминали, что ещё не сделали, не взяли, не проверили. А тут ещё проблема с билетами; не хва-

тало четверым, в том числе и Жовнеру, их покупку задержало оформление документов, а теперь на поезд, в котором ехали остальные бойцы отряда, оставались только места по брони обкома партии. Жигулин поручил ему и Позёминой заняться решением этого вопроса, и они полдня обивали пороги железнодорожного начальства, обкома, железнодорожные кассы пока, наконец, не получили недостающие билеты.

Вечером к нему неожиданно нагрянули Качинский, так никуда и не уехавший, и Согжитов, тоже задержавшийся в городе после сессии. Качинский стал спрашивать, как они сходили с Еленой на Байкал, но Сашка не стал ничего рассказывать.

Баяр, который подружился со Скифом и перезнакомился с другими молодыми писателями, став завсегдаем писательских собраний и всяческих мероприятий, сообщил последние новости о Борисе Ивановиче. Черников, оказывается, срочно улетел в Москву, вроде у него там получается издать книгу. С Юлией они окончательно разошлись, хотя развод ещё не оформили. И вроде с Машей у них тоже всё разладилось.

Последнюю фразу он произнёс не очень уверенно, хотя было очевидно, что хотел порадовать Сашку. Но тот честно сознался, что никаких чувств к ней больше не испытывает.

— Получится у них что-нибудь, ну и пусть, — великодушно разрешил он. — Только Борис явно староват для Машки. Да и не любит он никого по-настоящему.

— Борис молоденьким и экзальтированным нравится, — вставил Качинский, разливая принесён-

ное вино. — Он их умеет заговаривать так, что они про всё забывают. Гипнотизирует.

— А ты у него учишься, — не преминул заметить Сашка.

— Учусь, — согласился тот. — Я тоже в старости молоденьких любить буду. Они слушать умеют и — главное — всему верят.

Они выпили за гладкую дорогу всем троим: следом за Сашкой уезжал и Володя Качинский, а Баяр улетал к себе в Улан-Удэ уже утром. Потом проводили первым отбывающего Баяра, покурили с Качинским возле его общежития, полемизируя с редкими спешащими домой студентками о погоде, небе и нелепости сна в такую прекрасную ночь. Наконец, разошлись.

Сашка завернул к общежитию Елены.

Нашёл её окно, которое хорошо запомнил, когда провожал после байкальского похода. Оно ещё светилось, хотя время уже было за полночь.

Он представил, что она сейчас, уютно устроившись в кровати, читает книгу, она призналась, что очень любит читать, и, отрываясь временами, может быть, думает о нём... Ему очень хотелось увидеть её в этой домашней позе, он попытался послать мысленный импульс и как дурак стоял, надеясь, что вот-вот она подойдёт к окну...

...Поезд уходил вечером. Садись в него шумно и суматошно, отличаясь от прочих пассажиров не только стройотрядовской формой. Наконец, разместились в двух вагонах, нарушив чинный покой уже едущих пассажиров. Начальственной тройкой — Жигулин, Позёмина и он — обошли все места, проверили наличие бойцов и порядок.

Наташа осталась в командирском купе прощаться с мужем, невзрачным очкариком, часто протирающим очки и вззирающим в эти мгновения на мир глубоко сидящими беззащитными глазами, а они с Жигулиным вышли покурить на перрон. Командира жена не провожала, уехала с дочкой в деревню к родителям, и он позволил себе расслабиться — ушёл в станционный буфет. Предлагал и Сашке выпить по кружечке пивка, но тот отказался.

Сашка купил сигарет, вышел из здания вокзала, закурил, обводя взглядом перрон с пассажирами и провожающими, и вдруг увидел Елену. Она торопливо шла вдоль состава, поглядывая на окна вагонов, явно кого-то высматривая. Вот миновала их вагон.

Он помедлил, всё ещё не веря, что это она, потом догнал, положил руку на маленькое плечо. Она обернулась.

И, казалось, нисколько не удивилась.

— Привет. Вот пришла проводить...

— Меня? Я... очень рад, — наконец нашёлся он, не сводя глаз с её курного носа, влажных губ, голубых глаз... И торопливо добавил: — Если честно, я очень хотел тебя видеть.

— Мне Володя сказал, что ты сегодня уезжаешь.

— Я хотел к тебе зайти и не решился, — признался он.

— Я все эти дни провалялась... Читала Хемингуэя.

— Я — дурак, — сказал он.

— Я тоже завтра улетаю к родителям в Саяногорск.

— Когда? — Зачем-то переспросил он.
— В десять вечера.
— А я в это время уже буду подъезжать к Красноярску... С твоего самолёта, наверное, можно будет увидеть наш поезд.
— Длинную движущуюся светящуюся ленту... — улыбнулась она.
— А я буду высматривать два мигающих огонька и точки иллюминаторов...
— Это будет трудно сделать.
— Я постараюсь.
Они помолчали, не сводя глаз друг с друга.
— Хорошо, что мы сходили на Байкал, — тихо произнесла она.
— Да, — согласился он.
Она подняла голову. Их взгляды соединились, и они долго не отводили глаз, продолжая понятный только им одним безмолвный разговор.
— Осенью мы вернёмся совсем другими, — наконец вслух произнесла она.
— Наверное, — согласился он. — Хорошо, если бы уже была осень и нам не надо было расставаться.
— Нет, пусть будет, как будет, — не согласилась она. Он помедлил, но спорить не стал.
Они помолчали, стоя друг против друга.
— Я пойду, — сказала она, — тебя ждут. Он оглянулся.
Жигулин курил возле вагона, глядя на них.
— Ничего, он просто так стоит. — Сашка взглянул на часы. — У нас еще пять минут.
— Я пойду.
Она, не поворачиваясь, сделала пару шагов назад, затем вдруг вернулась, прикоснулась губами

к его губам и, размахивая беленькой сумочкой, быстро пошла к выходу в город.

Сашка смотрел ей вслед, сдерживая рвущиеся слова, чтобы вместе с ними не исчез волнующий аромат прикосновения её губ, думая, что напрасно он сейчас уезжает, что нужно догнать её и пойти рядом...

Ее воздушное платье в последний раз мелькнуло за чёрной оградой, и он медленно, оглядываясь, пошёл к вагону.

— Твоя девушка, — утвердительно произнёс Жигулин, берясь за поручень. — Красивенькая. С фигурой... Я думал, что отстанешь, придётся стоп-кран рвать.

Он подождал его в тамбуре.

— Остался бы, — признался Сашка. — Но она тоже улетает. Завтра.

— Студентка, — догадался Жигулин. — Моя жена тоже миниатюрной была. — И уточнил: — У нас учиться? Сашка кивнул и вошёл в вагон.

Впереди просвистел электровоз, состав дёрнулся, мимо поплыли станционные здания, мелькнул край привокзальной площади, где на трамвайной остановке должна была быть Лена, но сколько ни вглядывался Сашка, так и не смог её разглядеть в пёстрой толпе невесть откуда набежавших цыганок. Он постоял ещё немного у окна и, когда поезд загрохотал по мостовым пролётам над Ангарой, пошёл в купе...

...Они ехали до Москвы пять долгих дней, и эта поездка напомнила Сашке другую, уже давнюю, когда они с отцом впервые пересекали страну в обратном направлении. Он даже узнавал места,

которые тогда проезжали. Оказывается, картинки той детской поездки не забылись, а отложились где-то в подсознании, поэтому и таёжное раздолье по сторонам, и мужики и бабы на остановках, и степенные старики, посиживающие на маленьких полустанках, — всё это узнавалось и напоминало, казалось, навсегда забытое. Проезжая Красноярск, он вдруг вспомнил девочку Веру и её родителей. Как она, что с ней в их новом взрослом мире? Наверное, уже замужем, может, даже есть дети... Вдруг захотелось напомнить о себе, но номер телефона и адрес остались в родительском доме...

Проводниками были студентки из Владивостока, у них тоже был стройотряд, но исключительно девчоночий, и ребята мигом перезнакомились, задружили, завлюблились, забыв об оставшихся подругах.

В их плацкартном купе, кроме него и Жигулина (Наташа, переночевав первую ночь в мужском вагоне, договорилась с проводницами и перешла в служебное купе), ехали ещё Колька Савченко, коренной сибиряк из-под Нижнеудинска, любитель женщин и веселья; Сергей Мацук, серьёзный, уже взрослый мужик, отслуживший перед институтом, которого провозжали жена и дочь; и единственный в интернациональном отряде монгол с длинным невыговариваемым именем, которого с легковесного языка Савченко все называли Мажой. Он был самым маленьким в отряде, смуглолицым, скуластым и молчаливым. Дни напролёт он сидел, уставясь в вагонное окно, и каждое утро не переставал удивляться тому, что они всё ещё едут. Впрочем, удивлялся он и никак не кончавшейся тайге, и ши-

роким рекам, через которые переезжали или вдоль которых ехали, и тому, что всё нет и нет знакомой ему степи...

Жигулин на второй день познакомился с командиром отряда проводниц, полногрудой жгучей брюнеткой, явно не строгого поведения, тоже преподавателем, и стал пропадать у неё в купе, возвращаясь, как правило, под утро, под хмельком и умиротворённо-довольный.

Колька Савченко каждый день объяснялся в любви новой девчонке, неустанно пробегая состав в оба конца, и по вечерам делился впечатлениями: какая из них лучше целуется и доступнее...

Сергей Мацук задружил с проводницей из соседнего вагона, по вечерам пропадал у неё, но, в отличие от Кольки, впечатлениями не делился, да и возвращался не очень поздно.

А на Сашку положила глаз их проводница — маленькая, смешливая, с толстой матово-чёрной косой, спускающейся до пояса, говорливая Нинка-заманилка, как её окрестил Жигулин. Он подбивал Сашку сделать приятное девушке, судя по всему, уже знающей, откуда берутся дети, а не ломаться. Нина соблазняла его и китайским чаем из собственных припасов, и жигулёвским пивом, и вином из вагона-ресторана. Наконец, ближе к Москве вслух стала говорить, что вот о таком, как он, с детства грезила. Но Сашке она совсем не нравилась. Он отбивался как мог и от неё, и от искреннего удивления Жигулина, дескать, сама баба в постель тащит, а он упирается...

Расставаясь на перроне Ярославского вокзала, поймав Нинин плачущий взгляд, он всё же поце-

ловал её и с трудом оторвал от себя, обещающе сунув в карман листочек с адресом.

Им предстояла ещё дорога, правда, теперь более короткая, но зато совсем незнакомая. Они отправились с Белорусского вокзала, и ещё сутки проезжали обжитые европейские места, казалось, совсем уже залечившие раны войны. Проехали и Смоленск, от которого совсем рукой подать до родных Сашкиных мест, реки детства, и он решил, что на обратном пути обязательно заедет сюда хоть на пару дней...

В чистеньком и уютном, совсем не напоминающем войну Бресте их вагоны поставили на другие, европейские колеса, и за окнами вагона замелькали мало чем отличающиеся от белорусских польские земли. Впрочем, Польша промелькнула так быстро, что он толком-то и рассмотреть ничего не успел. И по ГДР ехали совсем недолго, утром поезд уже подходил к Берлинскому вокзалу. Только и запомнились ночные пограничные проверки документов...

Всё чистенько, чопорно и тесно — первые впечатления от городка, в котором им предстояло трудиться. Их поселили в общежитие местного института вместе с уже приехавшими болгарскими и польскими студентами. Немецкие студенты жили дома. За пару дней сибиряки успели со всеми перезнакомиться, выпить всю привезённую с собой водку, а кое-кто — даже закрутить интернациональную любовь.

Командиром теперь уже большого интернационального отряда стал Жигулин, комиссаром — Наташа. Отряд разделили на две бригады.

Бригадиром одной, куда вошёл Сашка, был назначен большой, бородатый, оттого выглядевший старше всех немец Йоган. Другую возглавил Сергей Мацук.

Днём работали, а вечера проводили в студенческом клубе — за пивом, сосисками, танцами и разговорами на смеси всех языков, которыми владели, и даже тех, которых не понимали. Сергей Мацук скоро везде стал появляться вместе с худенькой немкой Барбарой. Колька Савченко метался каждый вечер от одной к другой, столкнувшись с неприступностью серьёзных болгарок, обескураженный прямолинейной откровенностью полек, в конце-концов остановился на немках, считая их более доступными. И каждый раз, начиная увиваться возле очередной, обещал, что уж с этой он точно переспит.

Сашка подружился с Виолеттой, студенткой Софийского университета, неплохо говорившей по-русски. Она была статной, черноглазой и чернобровой. В ней явно текла и турецкая кровь. А ещё — уютной, спокойной и улыбчивой. Она почему-то никак не хотела сблизиться с откровенно ухаживающим за ней Йоганом. Каждый раз, когда тот приближался к столику, чтобы пригласить её на танец, Виолетта вскакивала, подхватывала Сашку под руку и вела в круг танцующих. Вместе они шли потом и в общежитие, расставаясь у её комнаты.

Жигулин неожиданно закрутил роман с Наташей Позёминой, которая, переехав границу, утратила свою комиссарскую неприступность, охотно принимая ухаживания. Своё внимание к ней

Жигулин объяснял необходимостью её контролировать, не дай бог инцидент нежелательный случится. Однажды, после приличной дозы спиртного, он разоткровенничался с Сашкой, признавшись, что имеет поручение не только от парткома, но и от комитета государственной безопасности присматривать за некоторыми ребятами, в частности, и за ним, Жовнером, тоже.

Сашке было неприятно это слышать, он считал, что их знакомство с Барышниковым навсегда осталось в прошлом. В тот вечер он даже решил уйти из клуба в разгар танцев. Виолетта, словно почувствовав его настроение, напросилась погулять с ним. Они долго бродили по совершенно безлюдному и тихому ночному городу, ощущая себя полными хозяевами уютных чистых улиц и зелёных скверов. В одном из них они впервые поцеловались. Виолетта целовалась страстно, прижимаясь так, что он ощущал каждый изгиб её горячего тела. Но когда он, не в силах более сдерживаться, несколько раз пытался добраться до её плоти, она отталкивала его и, зазывно смеясь, убегала вперёд...

В ту ночь они прогуляли до рассвета, то разговаривая, то целуясь и играя.

Он узнал, что у неё есть младшая сестра, отец работает редактором в издательстве, мать — учительница. Что она изучает русскую литературу, очень любит русские песни и писателей, которых уже прочла. Она приглашала его обязательно приехать к ней в гости в Софию и обещала сама приехать к нему в Сибирь. У неё был парень, они учились на одном факультете, но он изучал итальянскую

культуру и на лето уехал в Италию. Виолетта сказала, что они с Сашкой чем-то похожи.

Он рассказал ей о Лене.

Потом они уже не целовались, а долго сидели, обнявшись, на скамейке, наблюдая за набирающим силу рассветом...

Все были уверены, что в эту ночь они стали близки. И Сашка не стал разубеждать своих знакомых, а Виолетта своих, потому что они и в самом деле стали близки друг другу. Только не так, как это понимали другие.

...Работали с пяти утра и до двух дня почти в часе езды от города на небольшой станции. Работа была немудрёная — копать траншею под кабель вдоль железнодорожного полотна, но тяжёлая, — траншея проходила по каменистым отложениям, кирка и лом были основными инструментами. К тому же в то лето в Европе стояла небывалая жара, и к полудню белотелые немцы сдавались первыми. Потом начинали искать тень поляки. И только болгары соперничали с азартными сибиряками. Но все равно последним всегда бросал кирку невысокий и жилистый Коля Савченко. И каждый раз, демонстрируя вздувшиеся, как у культуриста, бугры мышц, он произносил одно и то же:

— Видали. Сибирский резерв — непобедим!

Эта фраза не нравилась Йогану, он один сравнительно неплохо понимал по-русски. Он морщился, обвинял Колю в пренебрежении дисциплиной, потому что тот всегда задерживался на рабочем месте после свистка, извещающего о перерыве или об окончании работы.

— Вот и войну они проиграли, потому что привыкли по свистку всё делать, — итожил потом в своей компании довольный собой Коля.

Самыми приятными минутами этих знойных и потных дней были те, которые они проводили в пристанционном буфете, поджидая пригородный поезд. Войти с жары в прохладное помещение уже было удовольствием, а медленно потягивать холодное вкусное пиво в запотевших больших кружках — о чём ещё можно мечтать после вгоняющего в пот труда...

Они выпивали по паре кружек, подходил пригородный состав, вытягиваемый из-за поворота сиене-белым тепловозом, они поднимались на второй этаж непривычного вагона, устраивались в креслах и, как правило, дремали, добирая к короткому ночному сну и готовясь к такой же короткой следующей ночи, потому что каждый вечер в студенческом клубе происходило что-нибудь интересное, и каждый вечер вместо положенных десяти часов даже пунктуальные и дисциплинированные немцы расходились уже за полночь.

В вагоне, разомлевшие после выпитого, настроенные на краткий отдых, тем не менее порой перебрасывались необязательными фразами и даже вяло дискутировали, обычно по поводу жизни в двух половинках когда-то единой Германии. Йоган, который выпивал пива больше всех, с неохотой, но помогал понимать друг друга, нередко начиная спорить со своими соотечественниками на немецком, и тогда лучше всех понимающий Савченко брался переводить остальным, поясняя, что ссорятся земляки из-за того, что Йоган смягчает

при переводе острые выражения. В такие минуты Зигфрид, стройный и красивый парень с острым, выражающим либо презрение, либо брезгливость взглядом, начинал отчаянно жестикулировать. Держался он в стороне от русских, ни с кем из них не заговаривал сам, но зато яростно вступал во все диспуты, защищая тех немцев, которые уехали в ФРГ или Западный Берлин, и оправдывая преступления нацистов необходимостью жить по законам войны и выполнять воинский приказ. Ещё одной его излюбленной темой было татаро-монгольское иго, от которого и по сей день русские, как он считал, не оправились.

Бросая отрывистые фразы, он кивал на прикившего к окну Мажу, который уж точно совсем ничего не понимал и на внимание к себе отвечал широкой смущённой улыбкой, даже не предполагая, что, со слов Зигфрида, он выглядит жестоким и хитрым завоевателем.

— Вы на этого провокатора не реагируйте и внимания не обращайтесь, — проинструктировал их после первого такого спора в клубе Жигулин. — Сболтнёте лишнего, потом не отмоетесь.

И поручил комиссару защищать справедливость и родину. А для того, чтобы Наташа лучше готовилась к идеологической борьбе, её сделали почётным членом бригады, выполняя за неё норму выработки и начисляя полагающуюся зарплату. Наташа просмотрела всё, что было в студенческом клубе на русском языке, а потом даже съездила в Карл-Маркс-Штадт за советскими газетами — ей явно не хватало текущей информации. Но, несмотря на такую тщательную подготовку, у неё не по-

лучалось логически увязать факты, которыми фигурировал Зигфрид. Тот явно был более подкован в этих вопросах, утверждая, что рано или поздно, но единая культура объединит немецкий народ, потому что не экономика и тем более не политика цементируют его, а общая история... Утверждение было спорным, не учитывало классовые интересы и диалектику идей, но Жигулин явно был далёк от философских вопросов, аргументированно противопоставить ничего не мог. Наташа же слаба в подобной казуистике, она воспитывалась на ясных и доступных пониманию лозунгах.

Сашку, попытавшегося влезть как-то в спор с цитатой соплеменника Зигфрида, философа Канта, об общих законах мироустройства, распространяющихся на любую культуру, а значит, ещё более влияющих, чем история и культура на соединение или разъединение любой нации, не только немецкой, Жигулин тут же вывел на улицу и прямым текстом пояснил, что дискутировать на подобные темы нельзя.

— Почему? — взвился тот, из-за расстояния, разделяющего европейский городок Цвиккау и сибирский Иркутск, напрочь забывший Барышникова и всё, что с ним связано.

— А потому! — отрубил Жигулин. — Потому что я за ваш бред отвечать не хочу. И партбилет мне ещё пригодится.

И, успокоившись, уже примирительно пояснил:

— Не я, так Наташка всё доложит. Или кто ещё... Тебе же хуже будет, ты и так на крючке, что ни скажешь, всё можно повернуть против тебя. Савченко пусть треплется, у него рабоче-крестьянская био-

графия без изъяна и непогрешимая идейная твердолобость. Если и не так что брякнет, пронесёт.

Вот и приходилось Сашке помалкивать, хотя он мог бы ответить Зигфриду, мог бы и о Канте, Гегеле поговорить, о Марксе с Энгельсом и прочих немецких умах...

Последнее время Зигфрид стал откровенно ухаживать за Виолеттой. Если Сашка приходил в клуб позже, он, как правило, заставлял его за столиком рядом с ней, практикующимся в английском, который она знала довольно хорошо. Правда, при Сашкином приближении Зигфрид поднимался и уходил, явно демонстрируя своё недовольство.

Конфликт назревал, Сашка уже настраивался на неизбежность если не драки, то оскорбительного словесного поединка. И то, и другое было чревато нехорошими последствиями. Это его раздражало. Беседы Зигфрида с Виолеттой тет-а-тет злили, но спрашивать её, о чём они разговаривают и как она к этому относится, Сашка не считал себя вправе. Тем не менее они обменивались с Зигфридом всё более откровенно враждебными взглядами, готовыми в любое мгновение перерасти в нечто более видимое для окружающих.

Наконец, Сашка не выдержал: в очередной раз застав их беседующими, спросил у Виолетты, не мешает ли он их увлекательному общению. Она вскинула на него большие глаза, потом рассмеялась, вывела из-за столика в круг танцующих и здесь, положив ему на плечи руки, на виду у всех поцеловала в губы и, смеясь, стала завешивать, что он не имеет никаких оснований для ревности, но ей очень нравится, что он её ревну-

ет, хотя этот немецкий парень ей совсем не нравится.

— Мы в Болгарии хорошо помним войну... — прошептала она ему на ухо.

Он не стал уточнять, что она имеет в виду, догадался, что скорее всего в её семье кто-то погиб или пострадал, а перехватив неприязненный взгляд Зигфрида, снисходительно усмехнулся и коснулся губами горячей щеки Виолетты.

В этот вечер они опять пошли гулять по городу, не переставая удивляться его чистоте, тишине и бутылочкам кефира и молока перед дверьми, выставленным торговцами перед рассветом ещё спящим заказчикам. Им было приятно видеть, ощущать друг друга, в то же время оба знали, что нежность в их отношениях отчасти из-за того, что кроме этих дней никаких других у них, вероятнее всего, не будет, каждый из них спустя полмесяца заживёт своей жизнью. Именно знание неизбежности вечной, лишь с мизерным допуском на встречу в дальнейшем, разлуки и рождало это трепетное отношение друг к другу.

Все возникшие пары переживали нечто подобное. А пары возникали, расстраивались и вновь рождались постоянно. Даже совсем было расклеившаяся в первую неделю Наташа, отоспавшись, восстановила былую привлекательность. На неё обратил внимание Йоган, она явно таяла от его внимания, и даже со стороны было видно — начала терять голову. Жигулину, умудряющемуся после множества выпитых рюмок не утратить бдительность, срочно пришлось предпринять контрмеры. Он бесцеремонно отеснил Йогана, стал

приглашать Наташку танцевать, довольно назойливо опекать, а потом незаметно исчез с ней. Через пару дней стало очевидно, что его чары оказались сильнее инородных, они смотрелись идеальной парой, демонстрируя идеологическую и нравственную сплоченность...

Три недели пролетели как один большой день, состоящий из двух запоминающихся и по-своему неповторимых половинок: первая — знойная, трудовая, пахнущая потом и заканчивающаяся холодным пивом в пристанционном буфете; и вторая — эмоциональная, волнующая, наполненная чувствами.

Колька Савченко, наконец, нашёл себе безотказную худенькую и некрасивую немку, все уже знали, что он с ней живёт, как и положено, предаваясь любовным утехам на широкой скамье в её аккуратном огорожке под ухоженной яблоней. И даже были в курсе, что однажды их застукал за этим делом папаша-немец, но драться, как Колька ожидал, не полез, а только что-то прошипел дочери на немецком так, что даже Колька не разобрал, и торопливо ушёл в свой двухэтажный особняк. Колька, выждав, завершил начатое, совсем не понимая ни подругу, которую несколько не смутило произошедшее, ни её отца, но ломать голову не стал, предполагая, что таковы здешние нравы.

И Жигулин с Наташей, похоже, достигли взаимопонимания.

У Сашки с Виолеттой нежность сменилась нервным предчувствием разлуки, но никто из них так и не делал попыток перевести их отношения в плотскую близость. Оба боялись, что потом им

будет неинтересно, держась за руки, вместе бродить по городу, заходить в магазины и на русском или болгарском обсуждать выбор подарков для своих близких или вдруг, остановившись, не обращая внимания на прохожих, касаться друг друга губами...

Время явно не было величиной постоянной. Порой оно замедляло свой бег, и тогда мгновение длилось неизмеримо долго. Но и хорошее, и плохое его наполнение всё равно заканчивалось. Даже если это мгновение было насыщено не совсем приятными событиями, Сашка не торопил его, втайне опасаясь, что рано или поздно наступит иной период, когда время стремительно побежит, не позволяя впитать, пережить, сохранить ощущения, оттенки, вкус настоящего. И оставит послекусие сожаления, печали, недовольства собой, попытками вернуться в невозвратное. Он старался не торопиться, смакуя каждое мгновение, но не в его воле было совсем остановить бег времени.

Всё когда-нибудь заканчивается.

...Это был жаркий безоблачный день — как и все предыдущие, изрядно уже утомившие непривычных к такой погоде европейцев и вполне устраивающие загоревших дочерна, нарастивших мускулы сибиряков. В последний раз они отмахали кайлом, выпили пива, проехали по привычному маршруту в двухэтажном вагоне, правда, на этот раз без привычной дремоты или споров. Немцы, очевидно, прикидывали, как каждый потратит полученную приличную зарплату, а русские к тому же пытались вообразить, что обещает им предстоящая культурно-ознакомительная поездка по ГДР. Даже Зиг-

фрид в тот день никому не задавал провокационных вопросов, а лишь поглядывал с усмешкой более умудрённого и знающего нечто важное человека.

Потом был прощальный вечер в студенческом клубе, неожиданно открывшаяся всем связь Сергея Мацука и симпатичной Барбары, которую проглядел вездесущий Жигулин. Он хотел было обнадеживающе усомниться, принять это за обычные товарищеские отношения, но те ходили, обняв друг друга, и без всяких подсказок было видно, что немка обожает неразумного Мацука.

Жигулин от расстройства подсел за столик к Сашке, Виолетта где-то задерживалась, принял сразу несколько рюмок специально сохранённой на этот вечер «Столичной» и пожаловался на всех сразу, включая и Сашку, так как все, за исключением Мажи, успели за это время загулять с польками, болгарками, немками, и теперь неизвестно, что отпишут на родину всевидящие местные органы, а он разве за всеми углядит, тут вот комиссаршу самому пасти пришлось, чтобы до международного скандала дело не дошло...

Сашка понимающе покивал, и захмелевший Жигулин стал говорить, что Наташку тоже можно и нужно понять: замуж выскочила больше по дурости, чем по любви, с этим мальчиком, ну, её мужем, десять лет за одной партией в школе отсидели, прилипли, можно сказать. Вместе и в институт поступили, в одну группу. Если объективно смотреть, то окружающая среда и заставила на четвёртом курсе в одну постель лечь.

— А он-то, ты же его видел. Промокашка... Она, между прочим, с ним не раздеваясь, в трусах и ноч-

ной рубашке, спит. А супружеские дела только в безопасные дни, он детей боится. Ну, ты видел сам, пацанёнок он. А она всю себя задисциплинировала, сплошные комплексы, вот и пришлось активисткой стать. Понимаешь, Сашок, что у неё тут? — Он стукнул себя по впалой груди мозолистой ладонью; киркой работал по-настоящему, показывал, как надо вкалывать, личным примером. И уже вполголоса, признательно и одновременно виновато, произнёс, явно рассчитывая на понимание и поддержку: — И как откажешь такой женщине?

Сашка согласно покивал, не особо вникая в смысл услышанного, отгоняя напоминающую о себе грусть по скорому прощанию с Виолеттой. Но он знал, что, в отличие от Жигулина, ему не в чем оправдываться и что, если придётся, с будущим мужем Виолетты он встретится без всяких опасений...

Водка уже давно кончилась, пили немецкий шнапс и пиво, на этот раз не особо сдерживая себя, завтра не надо было рано подниматься, становилось шумно и суетно, а Виолетты всё не было.

Наконец, Жигулин ушёл за столик к Наташке, возле которой присел молчаливый белокрысый Альфред, улыбчивый и дружелюбный, никогда не принимавший участия в их спорах. Он был трезвенником, бегал на длинные дистанции и в дружеских соревнованиях, и в беге, и в прыжках в длину был лучшим, но на этот раз перед ним стоял бокал пива, и он прикладывался к нему, что-то вкрадчиво наговаривая на англо-немецкой смеси рдеющей, явно равнодушной

к его словам Наташке. Появление Жигулина несколько его не смутило, но разговор принял более нейтральный характер.

Наблюдая за этой троицей, очень похожей на любовный треугольник, Сашка не заметил, откуда вдруг появился Зигфрид. Он был явно возбуждён, если не зол, остановился напротив, перегнулся и выпалил-прокричал, чётко выговаривая русские слова:

— Русский свинья!

Всё получилось инстинктивно.

Сашка резко поднялся, подтолкнув коленями стол, и тот ударил Зигфрида в пах. По-видимому, удар пришёлся в уязвимое место, потому что Зигфрид, кривясь от боли, согнулся, и Сашкин кулак пролетел мимо его побелевшего лица.

Зигфрид опустил на стул. Он сидел и мычал, сжавшись от боли, а Сашка, ощущая, как колотится сердце, стоял, возвышаясь над ним, сжимая кулаки, не зная, что делать дальше, потому что бить жалкого, плачущего Зигфрида он почему-то не мог.

Откуда-то появилась Виолетта, подхватила Сашку под руку, потянула неожиданно сильно, и он вышел за ней на улицу.

— Не нужно, — произнесла она и приложила к его губам палец. — Помолчи. Я слышала, что он сказал, но не нужно драться. Ему больно... Пусть...

Она запинаясь, словно забыла хорошо знакомые русские слова, и, когда Сашка попытался ей возразить, желая выплеснуть так и не растратченную злость, коснулась губами его губ, демонстрируя выскочившему следом за ними Жигулину, что у них всё в порядке.

Тот остановился в растерянности, потом всё же посоветовал:

— Вы бы, голубки, прогулялись. Там нашему Зигфриду совсем худо, говорит, что ты его ударил. Собирается здешнюю милицию вызывать.

Он окинул Сашку совершенно трезвым пронизательным взглядом.

— Не успел я его ударить, — зло сказал тот.

— Ты что, пива перепил? — глаза у Жигулина округлились. — Ты понимаешь, что будет, если он...

— Он его обозвал, — не дала Жигулину закончить Виолетта.

— Как?

Сашка подумал и сказал.

— Фашистский выродок, я его... — Жигулин, не обращая внимания на Виолетту, матерно выругался. — Только ты больше никому не рассказывай. Потом не докажешь, кто прав, кто нет. Это международные дела. А он хочет, чтобы ты извинился.

Сашка помотал головой.

— Не надо извиняться, — отозвалась за него Виолетта. — Я всё слышала, я скажу. Вышел Йоган, хмуро уставился на Сашку, словно чего-то ожидая.

Сашка глаза не отвёл и ничего говорить не стал.

Жигулин подхватил Йогана под локоть, отошёл с ним в сторону, рассказал, что услышал. Тот бросил недоверчивый взгляд на Сашку. Виолетта подошла к Йогану, негромко что-то произнесла. Тот покивал и в свою очередь начал что-то говорить Жигулину. Но Сашка не стал прислушиваться, а пошёл по улице.

Его догнала Виолетта, почему-то смеясь, спросила:

— Опять будем гулять?

И, взяв его под руку, прижавшись упругим телом, подстраиваясь под его шаг, произнесла:

— Хочешь, я скажу, почему Зигфрид такой злой? Сашка пожал плечами.

— Ты совсем не любопытный, а я всё равно скажу. Он объяснился мне в любви, а я над ним посмеялась.

— Ну и дурак, — с облегчением произнёс Сашка, наконец-то поняв причину этого неожиданного и неприятного инцидента. — Ехал бы тогда лучше в Болгарию бить твоего парня.

— Сашка, не надо никого бить. И не будем о них. Это наш вечер. Завтра ты уезжаешь, я тоже уезжаю...

— У нас разные маршруты? Она кивнула.

— Я еду домой, у нас нет экскурсионной программы. Это вы далеко живёте, в холодной Сибири, где медведи... А я могу сюда приехать на выходные.

— Да, мы далеко живём, — сказал Сашка, запоминая её чёрные глаза, густые брови, фигурные губы. — Но ещё десять дней будем здесь...

Он не договорил, надеясь, что она догадается, о чём он подумал.

И она догадалась, но отрицательно покачала головой. Её чёрные волосы, пахнущие лавандой, щекотали лицо и волновали.

— Я завтра уезжаю домой. Сестра ждёт, мы вместе поедем отдыхать на море. Я очень люблю море...

— Только сестра? — уточнил он.

— Пока да, — после паузы отозвалась она. И торпливо добавила: — Я буду тебя... как это... забыла вдруг... помнить...

— Вспоминать, — уточнил он.

— Нет-нет, — вдруг заторопилась она. — Вспоминать — это плохо. Это когда в прошлом. Я буду думать. И мы будем общаться. Мысленно...

— Это замечательно, — согласился он.

Здание студенческого клуба давно спряталось за другими домами. Они, не договариваясь, пошли в сторону от центральных улиц, выбирая тихие и пустынные, остывающие после знойного дня. Шли, болтая обо всём, что придёт в голову, сожалея, что время столь стремительно и этот вечер тоже заканчивается, как остались в прошлом и три недели, насыщенные невероятным количеством событий, среди которых главным была их встреча.

— Ты знаешь, Сашка, я очень хотела ехать. Мы даже поссорились с моим другом, он звал меня с собой в Италию. Но теперь я понимаю, я не могла не встретить тебя.

— Чтобы попрактиковаться в русском, — поддел он.

— Неверно, — помотала головой она. — Не надо больше... как это... быть ехидной...

— Ехидничать, — подсказал Сашка, прижимая её к себе, находя ждущие и уступчивые губы. И пообещал после поцелуя: — Больше не буду. Это я от горечи предстоящего расставания.

— Зачем горечь? У нас всё замечательно есть и будет, — Виолетта отступила назад, вытянулась на носочках, прогнулась, вскинула руки, словно птица. — Разве ты не ощущаешь, что мы с тобой вместе там высоко... Под самыми звёздами...

— Я хочу осязать тебя, — сказал он, вдруг ощутив острое желание физической близости.

И тут же постарался избавиться от него, понимая, что это разрушает соединяющую их действительно неземную связь.

— Осязать — это значит щупать, — произнесла она. — Щупать — это значит не любить, не верить своим чувствам.

— Это для меня сложновато, — сказал он. — Наверное, для мужчины всё-таки важно не только парить, но и щупать.

— Пусть так, — махнула рукой Виолетта. — Давай свою руку.

Она неожиданно сильно сжала его ладонь своей, он удивился и в ответ обхватил своей шершавой после кирки ладонью её.

— А теперь ты меня осязашь? — Она старательно выговорила последнее, явно незнакомое ей прежде слово и взглянула ему в глаза.

— Да, — согласился он.

Они всё кружили и кружили по чужому для каждого порознь и неожиданно ставшему близким для них двоих городу и говорили, говорили... Но летняя ночь до огорчения коротка, а время неподвластно человеку, и, расставаясь перед её комнатой, но никак не решаясь на это расставание, они стали договариваться о будущей встрече, когда соберутся все вместе: она со своим мужем, и он к тому времени уже будет обязательно не один...

— Нет, один, — возразил он.

— Не одинокий.

— Я не женюсь.

— И дети будут. Мальчик и девочка.

— У тебя?

— И у тебя тоже.

Пикировались, мечтали, но больше — фантазировали, почему-то веря в заманчивую картину залитого солнцем золотистого пляжа, светлых (его) и черноголовых (её) играющих детей, в размягчённое освежающим бризом предзакатное сидение за совместным столом под свисающими гроздьями созревающего винограда над бокалом вина, приносящего отдохновение от жаркого дня...

Это была иллюзорная идиллия, но она казалась вполне реализуемой, уже существующей там, в будущем, пока ещё неведомом им...

...Он почему-то запомнил эту совместно сотворённую ими в то ясное июльское утро картину, и в первые дни их путешествия по Восточной Германии часто переносился в неё, отгоняя этим приступы тоски. И всё-таки, если бы каждый день не был насыщен впечатлениями, отвлекавшими от подобных мыслей, он в конце концов уступил бы желанию, сообщил ей о том, что должен её увидеть, чтобы окончательно понять, насколько его чувства серьёзны... Но сначала не решался, потом придумывал, как сделать, чтобы это не выглядело жалостливой просьбой, потом суэта поездки незаметно отвлекла его...

Германия оказалась поразительно маленькой, их переезды занимали, как правило, всего несколько часов, но тем не менее этот не очень длинный маршрут вместил многое, запомнившееся надолго. Гидом их на эти недели знакомства с чужой страной стал Йоган, который для начала повёз их к себе домой, в маленькую деревушку под Веймаром. В их культурно-туристической программе

значился Веймар, который был знаменит не только Веймарской республикой (по истории), но и тем, что здесь в своё время жили и творили два известных немецких поэта — мудрый Гёте и бунтующий Шиллер. Но Йоган предложил им вместо гостиницы остановиться на пару дней у него. Причиной тому отчасти был конфликт между Зигфридом и Сашкой. Жигулин, разбирающийся в подобных вопросах, предположил, что о случившемся Йоган всё-таки доложил в свои соответствующие органы, и там решили продемонстрировать непланируемую ранее большую открытость и дружелюбие.

Отец Йогана, немногословный крупный мужчина, не понимающий по-русски ни слова, перемещающийся по дому бесшумно, словно привидение, был священнослужителем. В Цвиккау Сашка заходил в местный собор, наблюдал за поющими чистенькими прихожанами, но так и не разобрался — была ли это католическая или протестантская служба. Больше всего ему запомнился маленький человечек, его звали Гюнтер, который управлял органом, и густые звуки, заполнявшие своды... И пение, и чинно-бесстрастное спокойствие иной веры контрастировали со службой в православном храме, впечатление от которой он вынес раньше. Однажды в Иркутске Сашка из любопытства зашёл посмотреть православную службу. Горели свечи, было жарко, помещение было заполнено в основном старыми женщинами в платках. Перед ними речитативом вещал что-то непонятное священник. У алтаря он заметил старика, истово кланяющегося. Его заострённое лицо было одними огромными гла-

зами, не видящими окружающее, устремлёнными куда-то в неведомое Сашке измерение...

Эти глаза, мечущееся пламя свечей, плотно стоящие старушки, басистый, облачённый в расшитые одежды священник, духота — совсем не походили на благочинное уютное сидение на длинных скамьях...

Самым примечательным зданием в этой немецкой деревне был храм. И хотя домов в ней всего несколько десятков, были они все добротными, аккуратными и ухоженными, и, как правило, двухэтажными. Насколько Сашка понял, их владельцы работали в недалёком Веймаре, и лишь немногие имели отношение к земле.

Трёхэтажный особняк отца Йогана после смерти жены, а старший брат и сестра Йогана уехали из дома ещё раньше, навевал ощущение невосполнимой пустоты. Стоявшее на первом этаже пианино, когда Наташа попыталась на нём сыграть, откровенно фальшивило. Деревянные полы на втором этаже, где их разместили, поскрипывали. Дом пах стариной, что было вполне естественно: его, оказывается, строил ещё прадед Йогана, а смута и войны каким-то чудом деревушку обходили.

Этот дом, маленький Гюнтер, перебирающий коротенькими ножками педали-клавиши огромного органа, вместе с картинной каретой Гёте и полутёмными комнатами дома Шиллера составили его впечатление о прошлом страны, в которой не так уж давно и далеко не с ознакомительным визитом побывал его отец. Он подумал об этом в Бухенвальде, идя по геометрически безупречным лагерьным дорожкам среди зловеще чистеньких бараков,

которые, казалось, доверху наполнены страданиями. Вспомнил в Дрездене, в картинной галерее, разглядывая полотна известных художников и вспоминая кадры документального фильма, на которых и этот город, и здание галереи лежали в руинах после бомбардировки американской авиацией уже в самом конце войны, в 1945 году. И в Берлине, где на улицах прошлое угадывалось с трудом: город, с его упорядоченной жизнью, аккуратной Александр-Платц, ресторанами и кегль-барами, магазинами, с закованной в набережную Шпреей, с новыми высотными домами, казалось, напрочь забыл о войне и разрухе. Никак не напоминали столичные улицы о войне ещё и потому, что в каждом из городов, где побывали, а в Берлине чаще, чем где-либо, они обязательно встречали туристов из Советского Союза. И хотя немцы, с которыми приходилось сталкиваться, в большинстве своём относились к ним или благожелательно, или нейтрально, встречи с соотечественниками бывали по-настоящему радостными.

Хотелось домой.

Хотелось просторов, где безбрежье горизонтов рождало чувство необъяснимой восторженной лёгкости, а здесь деревеньки и города сменяли друг друга в пределах видимости; чистой прозрачной воды, как в Ангаре; русской, понятной и ласкающей слух речи; наконец, борща под водочку вместо поднадоевших сосисок и пива...

Наконец, наступил ожидаемый день отъезда, когда всё планируемое осмотрено, заработанные марки потрачены, мысли о встрече с пограничниками в знакомой форме приятно радуют.

На вокзале Мацука провожала Барбара, потерянно прижимавшаяся к Сергею, большому, загорелому, улыбчивому, — такая маленькая, бледнолицая, худенькая и жалкая. Он её гладил по светловолосой головке и что-то говорил-нашёптывал на непостижимой смеси русского и немецкого, и она кивала, похоже, хорошо понимая, хотя знала по-русски всего несколько слов.

Колька Савченко, глядя на них, вспомнил свою немку, неожиданно признался, что, надо же, никак та не выйдет из головы, а такая вся лядащая. И так никто и не понял, что он вложил в это новое для всех словечко «лядащая», но, судя по интонации, в нём было что-то жалостливо-нежное.

Когда поезд дернулся и заплаканное некрасивое лицо Барбары стало отдаляться, уходить из их жизни, Сашка вдруг подумал, что боится представить себя на месте Серёги, стоящего сейчас в тамбуре, возвышаясь над проводницей и подставляя голову под набирающую силу струю встречного воздуха, выбивающую непрошеные и неуместные слёзы...

Роман Нутрихин

КЛАД ЦАРСКОГО КОНВОЯ

«Какие прекрасные лица и как безнадежно бледны — наследник, императрица, четыре великих княжны...» Эхо этих стихов поэта-эмигранта Георгия Иванова причудливым образом отозвалось в Ессентуках, где несколько лет назад было сделано открытие, граничащее с чудом.

Летом 2018 года на курортах Кавказских Минеральных Вод, как и везде, где есть старинные особняки, требующие реставрации и ремонта, строители спешили закончить плановые работы до наступления холодов. В Ессентуках на двухэтажном здании с мезонином, которое занимает теперь отдел Федерального казначейства, латали кровлю. Под ветхой балкой рабочие нашли попорченный влагой и кое-где тронутый плесенью конверт с фотографиями. На большинстве из них одни и те же лица — высокие, симпатичные казаки в компании особ, которых узнают даже те,



Краеведение



кто никогда не интересовался историей. С поблекших фотокарточек на нас смотрят Николай II и его дети!

Бесценный фотоархив явно принадлежал кому-то из близкого окружения российского самодержца. На это указывают непринужденные лица и позы гвардейцев, да и самих августейших персон, которые держатся с ними почти по-дружески. Перед нами редчайшие свидетельства повседневной жизни самой знаменитой семьи начала XX столетия. Еще большую ценность находке придает то, что на двух карточках имеются подлинные автографы царских детей — характерные росчерки четырех великих княжон и собственноручная подпись цесаревича Алексея на отдельной открытке.

Нетрудно догадаться, когда и при каких обстоятельствах эти реликвии попали на старый чердак. После драматических событий революции и гражданской войны по всему Ставрополью оказалось припрятано множество кладов — денег, драгоценностей и личных реликвий, оставленных в укромных местах хозяевами, надеявшимися скрыть их от новой власти. Потом эти «заначки» находили на протяжении всего советского периода. Продолжают они попадаться и до сих пор. Вот, например, о чем поведала ставропольский журналист Наталья Корниенко в 2007 году на страницах «Комсомольской правды»: «Когда в Новоалександровском военкомате начали перекрывать крышу, между ней и стропилами нашли сверток. В старую газету было завернуто настоящее состояние (по меркам начала прошлого века): пачка денег достоинством от 100 до 1000 рублей, два погона с вензелем “М”

и большой императорской короной и фотографии. Газета была настолько ветхая, что рассыпалась в прах прямо в руках. Само же содержимое клада за годы “замурованной” жизни не на шутку пострадало. Один погон уцелел, несколько купюр. Райвоенкомат располагается в этом здании с 20-х годов прошлого века. Кто был хозяином дома до военных, сказать невозможно. Говорят, все документы довоенного периода пропали в годы оккупации. А еще местные старики вспоминают, что до революции в усадьбе жил богатый купец. Его сыновья не то служили в казаках, не то были банкирами. А может, и то, и другое. Вот почему в потаенном месте оказались именно деньги и погоны. Золотой погон является интересной находкой, ибо в казачьих войсках погоны были серебряные. Кстати, о потаенности. В военкомате сразу решили, что состояние прятали в спешке. Ведь не под приметным деревом закопали, не в стене замуровали, а просто сунули в щель. И в газету вряд ли бы стали заворачивать, если б не надеялись вскоре вернуться. Особой ценности найденные купюры не представляют. Клад передали в военный комиссариат Ставропольского края. Там уже создается свой музей».

Оно и не удивительно. Особенно на Кавказских Минеральных Водах. После 1917 года в Ессентуки и другие города-курорты из обеих столиц стала съезжаться отборная аристократия. От опасностей, подстерегавших там на каждом шагу, и от голода, призрак которого уже замаячил на горизонте. Приехала в Кисловодск и знаменитая балерина Матильда Кшесинская, прославившаяся не столько своей сценической деятельностью, сколько от-

ношениями с Николаем II (еще до его помолвки с будущей законной супругой). «Многие семьи, — вспоминала прима императорского балета, — начали покидать Петербург и уезжать на Кавказ, главным образом именно на группу Минеральных Вод: Пятигорск, Ессентуки и Кисловодск, где, кроме прекрасного климата и целебных вод, можно было удобно устроиться. Уехали граф Кокцов с женой, графиня Карлова со всей семьей, Шереметевы, Воронцовы и многие другие». Сюда же прибыли и некоторые представители царской фамилии. Например, великая княгиня Мария Павловна, и ее сыновья — кузены государя Борис и Андрей Владимировичи (последний позднее женился на скандально известной балерине).

С приходом на Северный Кавказ большевиков представителям имущих классов пришлось несладко. На их кавминводские дачи зачастили вооруженные «товарищи». «Обыски, — писала Кшесинская, — обыкновенно сопровождалась отбиранием всего ценного, что солдатам попадалось под руки, и все поэтому стали прятать деньги и драгоценности. Тут, конечно, каждый проявлял свой талант и находчивость... Драгоценности я спрятала в полу юю ножку кровати, спустив их на ниточке, чтобы потом можно было вытащить обратно».

Таких тайников делалось тогда немало. Однако в 2018 году на Кавказских Водах был впервые обнаружен клад такой исторической ценности — редчайшие фото и настоящие автографы царских детей.

Можно себе представить, с какими мыслями лейб-казак прятал свои фотореликвии в этом укромном месте. Не будучи уверенным в завтраш-

нем дне, он наверняка хотел сберечь их для потомков. Или, возможно, просто опасался за свою жизнь. Ведь легко вообразить, что стало бы с ним, если бы большевики при аресте нашли его собственные фотографии в окружении первых лиц Российской империи...

Теперь же, сто лет спустя, их обнаружили строители. Ессентукские «казначей», завладевшие необыкновенной находкой по праву сегодняшних хозяев особняка, передали ее в Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю. К счастью, там уже не первый год под руководством Веры Ивановны Самариной работает поисковый отряд «Казначей 26», накопивший большой опыт исторических исследований — от описания ретроспективы регионального ведомства до прояснения судеб бойцов Великой Отечественной войны. В краевом казначействе есть и свой музей, жемчужиной которого стали копии сенсационных фото из Ессентуков (подлинники переданы в Ставропольский государственный музей-заповедник имени Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве).

Историки-любители с энтузиазмом принялись за изучение уникальной находки. На обороте портретов обнаружили слова посвящения: «Анатолию Семеновичу. Царское Село. 1917. 7-го апреля». Они-то, вкупе с тем, что на других фото явно изображены лейб-казаки Собственного Его Императорского Величества Конвоя, и навели на мысль о том, кто был адресатом этих автографов великих княжон.

Им мог быть только Анатолий Семенович Федюшкин (во всяком случае, в конвое семьи наше-

го последнего императора не было других людей с такими инициалами). Он родился в 1887 году в станице Червленной Терского казачьего войска (теперь на территории Чечни). Кавказский род Федюшких — большой и древний — назвался в честь славного предка Федора, отправившегося в 1717 году с отрядом гребенских казаков на покорение сказочной Хивы, да так и сгинувшего в Средней Азии. Эта фамилия дала России трех генералов. Их родовая станица Червленная вплоть до хрущевских времен была исключительно казачьей. Когда там снимали советские фильмы «Казачи», «Кочубей» и другие, для них даже не требовалось каких-то дополнительных декораций. Все и так было в наличии.

Анатолий Федюшкин окончил Тифлисский кадетский корпус и Николаевское кавалерийское училище. В 1906 году он поступил хорунжим в 1-й Кизляро-Гребенский полк Терского войска, но уже через три года был призван в Собственный Его Императорского Величества Конвой. И этого следовало ожидать, так как в лейб-гвардии служило уже не первое поколение Федюшких. Царя охраняли родной и двоюродный дядьки Анатолия Семеновича, а в годы Первой мировой войны в конвой поступил его младший брат Николай.

Однако Анатолий Федюшкин есть не на всех фото, найденных на чердаке в Ессентуках. Их сопоставление с уже известными фотодокументами царской семьи показало, что на них чаще фигурирует другой лейб-казак — Александр Константинович Шведов.

Он родился в 1888 году в станице Григорополисской (Лабинского отдела Кубанского Казачьего Войска, ныне — на территории Ставропольского края), в семье казачьего полковника. Был выпускником Сибирского кадетского корпуса, а после окончил Константиновское артиллерийское училище. Служил в императорском конвое с 1911 года.

Судя по фотографиям и вехам их общего служебного пути, Анатолий Федюшкин и Александр Шведов, оба состоявшие в эскорте императорской семьи, были неразлучными друзьями. Так что в итоге невозможно установить точно, кому принадлежал клад фотодокументов, спрятанных под балкой старинного особняка курортных Ессентуков. С равной долей вероятности можно предположить, что они принадлежали и Федюшкину, хранившему у себя некоторые фотографии Шведова, как и то, что у Шведова могли находиться некоторые документы Федюшкина, которые он вынужден был спрятать при отступлении Белой армии с Северного Кавказа. По имеющимся на сегодняшний день данным нельзя точно сказать, кто спрятал этот клад — Шведов или Федюшкин.

Единственное, что можно утверждать наверняка, — оба они в годы своего служения при императоре очень сблизились с царской семьей. Среди фотографий, найденных в Ессентуках, есть одна — хуже всех сохранившаяся, почти выцветшая, — на которой казаки позируют рядом с императором, цесаревичем Алексеем, двумя великими князьями, фрейлиной Анной Вырубовой и другими придворными на фоне какого-то сада и цепи заснеженных гор. Вероятно, где-нибудь в Крыму.

Особенно доверительные и даже дружеские отношения сложились у Шведова и Федюшкина с царскими детьми после начала Великой войны, когда Николай II отбыл на фронт. В отсутствие отца великие княжны часто выезжали с визитами. Сопровождали их немногие из наиболее симпатичных им конвойных офицеров — не столько для охраны, сколько для компании. Годы спустя сестра императора, великая княгиня Ольга Александровна вспоминала: «По воскресным дням от трех до девяти часов отпускали ко мне... моих четырех племянниц, пили чай и играли в разные игры. Бывали Шкуропатский, Федюшкин, Шведов, Скворцов, Золотарев и Зерщиков, они чередовались. Но Зборовский, Шведов и Федюшкин были всегда (племянницы особенно их любили)».

Федюшкина они прозвали «Юзиком» — по имени героя прочитанной ими книги, очень на него похожего. Шведова — «Шуриком». Вскоре таким манером их величала уже вся венценосная семья, не представлявшая своей жизни без Шурика и Юзика. Излюбленным их развлечением были поездки на чай к подруге государыни Анне Вырубовой, где они могли отдохнуть и побеседовать в узком кругу. На эти душевные посиделки «у Ани» они приглашали Федюшкина и Шведова. Поскольку Вырубова была доверенным лицом Григория Распутина, можно предположить, что и с ним лейб-казаки виделись неоднократно.

Анатолий Федюшкин и Александр Шведов часто упоминаются в дневниках и письмах царской семьи. 11-го мая 1915 года Татьяна Николаевна писала отцу в ставку: «Вчера вечером... поехали к Ане...

Приехали туда Равтопуло, Шведов, Юзик... Очень было хорошо и весело». Другие сестры тоже сообщали о приятных часах, проведенных в компании Шведова и Федюшкина. Но великая княжна Татьяна, кажется, благоволила к ним больше других. Запись в ее дневнике от 31-го августа: «Поехали опять к Ане. Юзик был и Александр Константинович. Душки были. Очень уютно сидели до 11 часов».

Среди обнаруженных в Ессентуках снимков есть один, где Шведов изображен рядом со старшей из принцесс, Ольгой, во время такого дружеского чаепития. На другом: Федюшкин с тремя лейб-казаками сидит на ковре у ног августейших сестер. На коленях у него кавказский кинжал, который тоже недавно «всплыл» в глобальной сети как удачная находка частного коллекционера. Характерно и фото гвардейцев, позирующих у императорского автомобиля с царской собачкой на руках. Все это говорит о близости Шведова и Федюшкина к семье, питавшей к ним самое искреннее расположение.

Однако на идиллию теплых человеческих отношений напознала туча неизбежного расставания. Весь 1915-й и половину следующего года Анатолий Федюшкин и Александр Шведов неотлучно находились при супруге и дочерях императора. Государыня постоянно писала о них мужу: «Вчера вечером мы были у Ани, где видели... Юзика», «...мы провели вечер у Ани, где был также Шурик, Юзик...» В семье заговорили о том, что Федюшкин и Шведов вот-вот должны отбыть на поля сражений. Шла Великая война. Лейб-казаки поочередно отправлялись в действующую армию. Некоторые уже были там ранены, и вести об этом доходили

до встревоженной императрицы. Она старалась устроить лично известных ей гвардейцев в свой санитарный поезд, чтобы самой о них позаботиться. В июне 1916 года Александра Федоровна писала царю, что в этом деле ей «Юзик поможет в Киеве». Стало быть, вопрос о его скором отъезде решился окончательно.

22-го июня великая княжна Татьяна сообщала отцу: «Вчера мы пили чай у Ани... был и Федюшкин... Четвертая Сотня уходит 1-го». В действительности 4-я Сотня Императорского Конвоя, в которой Юзик командовал взводом, выступила на фронт 9-го июля. Накануне Александра Федоровна пригласила его с другими офицерами к себе, благословила на ратный подвиг, подарила нательные образки и пожелала им удачи, а также счастливого возвращения. Татьяна Николаевна поднесла другу шелковую рубашку с приколотой запиской: «Да благословит и сохрани Вас Господь, милый Юзик! Татьяна».

Воевал Анатолий Семенович в звании подьесаула Лейб-Гвардии. Из дневников великих княжон известно, что с фронта он писал Анне Вырубовой. Им еще суждено было встретиться. 7-го ноября 1916 года Федюшкин ненадолго вернулся в Царское Село, о чем государыня сообщала Николаю II: «...вечер мы провели у Ани с Юзиком». О том же в дневнике у Ольги Николаевны: «Вечер провели у Ани с Ритой, Грамотиным, Виктором Эрастовичем и Юзиком. Они на днях вернулись. Было очень уютно, и все милы».

Потом грянула революция. Интересно, что на обороте карточки с автографами четырех вели-

ких княжон из тайника в Ессентуках рукой цесаревны Татьяны Николаевны выведена дата — 7-е апреля 1917 года. То есть они подписали это фото Федюшкину уже после отречения Николая II от престола, когда вся семья находилась под арестом в Царском Селе. Неизвестно, передали ли девушки ее Анатолию Семеновичу лично или послали на линию фронта в память о былых радостях. Как бы там ни было, но на этом свете они больше не виделись. Судьба уже сплела венценосной семье венцы иные — звездные короны страстотерпцев...

С мая 1917 года их прежние охранники снова в строю. Федюшкин командует 1-й сотней Терского гвардейского дивизиона. В 1918-м принимает участие в восстании казачества на Северном Кавказе, благодаря которому от большевиков было освобождено немало городов, станиц и аулов. Федюшкин примкнул к Белому движению, стал помощником командира Терского гвардейского атаманского дивизиона, и в 1920 году — полковником. Но успех «белых» оказался эфемерным. Вскоре «красные» потеснили их на юге России. Шведов был замучен в тюрьме. Точная дата его гибели неизвестна.

Федюшкину повезло больше. Возможно, именно он перед отступлением спрятал драгоценные фото в Ессентуках. Почему именно там? Возможно, просто воевал на Кавказских Водах или навещал здесь родственников, коих у него было немало. Местной легендой слыл брат его деда — генерал Федул Федюшкин, атаман Пятигорского отдела Терского войска, похороненный в ограде здешней казачьей церкви. В 1840 году он сражался вместе с Лермонтовым при Валерике и удостоился золотой сабли

с надписью «За храбрость». Его потомки владели в Ессентуках санаторием «Вера», заправляли Обществом городского благоустройства и сделали так много для города-курорта, что одна из его улиц стала называться Федюшкинской (ныне ул. Титова). Вероятно, в одном из особняков своей родни или в штабном учреждении Анатолий Семенович и скрыл в критическую минуту то, что было ему так дорого.

Вместе с отходившими частями Белой армии он покинул Россию. Долго скитался по свету, поселился в Соединенных Штатах и умер в августе 1958 года в Сан-Франциско.

Ровно через 60 лет, в год 100-летия со дня расстрела царской семьи и начала гражданской междоусобицы, ессентукский тайник царских конвоиров был «случайно» обнаружен. Ну, не чудо ли?

Николай БЛОХИН

ДОБРОЕ СЕРДЦЕ, ДОБРЫЙ ТАЛАНТ

I

Имя Леонида Епанешникова стало известно читателям в 1959 году, когда в Карачаево-Черкесском книжном издательстве вышла его первая книжка стихотворений для детей «Брат и сестра» с чёрно-белыми рисунками известного на Северном Кавказе художника-иллюстратора Владимира Бекетова. На следующий год для Ставропольского книжного издательства Епанешников подготовил вторую книгу «Друзья». Она вышла и продавалась в Кисловодске, где в ту пору отдыхал известный писатель Абхазии Георгий Гулиа, лауреат Сталинской премии. Он прочел книжку Епанешникова и решил познакомиться с автором.

Встреча писателей произошла там же, как вспоминал Георгий Гулиа, «на виду у Эль-



*Литературо-
ведение*



бруса: двухвершинный гигант почти всегда сверкает здесь на фоне голубого неба». Гулиа встретил высокого улыбчивого человека. Наверное, таким и должен быть детский писатель, потому что, чтобы «писать о детях или для детей, надо любить их особенной любовью, как равных тебе». Беседуя с Леонидом Епанешниковым, Гулиа понял одну простую вещь, что работает поэт профессионально, ведь «услышанное или увиденное в детстве — на всю жизнь!»

Позднее в предисловии к книжке Леонида Епанешникова «Живой значок» Георгий Гулиа написал: «Тот, кто бывал в горах, несомненно, встречал в глухих местах родники необыкновенной чистоты. К ним полностью можно отнести определение «кристально-чистые». С такими родниками можно сравнить детскую душу. Чтобы не замутить её, требуется и большой такт, и хорошее знание юной души, не говоря уже о литературном таланте. Всеми этими качествами обладает Леонид Епанешников. Говоря попросту, сердце у него доброе, и стихи его добрые...»

II

Леонид родился в Баталпашинске (так в те годы назывался город Черкесск) 11 апреля 1923 года. Ходил в десятую среднюю школу. Больше всего любил уроки по литературе, русскому языку, иностранному и рисованию. Стихи начал писать рано. Первое стихотворение семиклассник Леонид напечатал в газете «Красная Черкессия», которое было посвящено столетней годовщине со дня гибели

А. С. Пушкина. В 1939 году Леонид Епанешников стал победителем литературного конкурса на лучшее стихотворение, который проводился среди пионеров и школьников Северного Кавказа. Многие помнят о том, что ещё тогда Епанешников попробовал себя в роли литературного переводчика. Именно ему принадлежат первые переводы поэтических произведений Хусина Гашокова — с черкесского и Фазиля Абдулжалилова — с ногайского. За год до войны семнадцатилетний поэт подготовил к печати первый сборник стихотворений и в том же году поступил в Литературный институт имени А. М. Горького.

Известие о начале войны застало его в Москве. Учиться дальше в Литературном институте Епанешникову не пришлось. Весь его курс ушёл на фронт, а Леонида не взяли из-за большой близорукости. Намеченный сборник стихотворений тоже не вышел. Образование поэт завершил после войны, окончил учительский, затем Ставропольский педагогический институт.

III

В пятидесятые годы Епанешников активно сотрудничал с редакциями газет «Ленинское знамя» и «Ставропольская правда». В «Кавказской здравнице» поэт вёл страничку «Советы начинающим литераторам». В эти годы он много переводил с абазинского, ногайского, черкесского. Переводил, как поэтические, так и прозаические произведения. Газеты охотно печатали его переводы стихотворений Хусина Гашокова, Пасарби Цекова,

Кали Джегутанова, рассказы Сайдина Хатуова. Владимир Максимов и Леонид Епанешников перевели на русский язык поэму черкесского поэта Хусина Гашокова «Горянка». Дважды переиздавалась в переводе Епанешникова повесть черкесского прозаика Сайдина Хатуова «На рассвете». Сборники стихотворений абазинского поэта Кали Джегутанова «Утро» и абазинского поэта и прозаика Пасарби Цекова «Мой товарищ» получили признание у российских читателей благодаря переводам Епанешникова на русский язык.

Летом 1957 года в стране широко праздновали четырехсотлетие добровольного присоединения Кабарды, Черкесии и Адыгеи к России во времена Московского царя Ивана IV (Грозного): «... чтобы их государь пожаловал, вступился за них, а их с землями взял к себе в холопы» (1552 г.) Или: «А они (черкесы) — холопы царя с жёнами и детьми вовеки» (1555 г.). И наконец, резюме летописца: «И царь принял их под свою высокую руку». По этому историческому поводу в Москве в Колонном зале Дома Союзов прошла объединённая декада литературы и искусства Карачаево-Черкесии и Адыгеи. Открывалась она стихотворением абазинского поэта Пасарби Цекова «Как многие реки в одну...» в переводе Епанешникова.

Труды поэта-переводчика были отмечены Почётной грамотой Министерства культуры СССР и ЦК профсоюза работников культуры. Стихотворение Пасарби Цекова «Как многие реки в одну...» печаталось в сборнике «Песня, ставшая книгой. Рождённая Октябрём поэзия», выдержавшем три издания; в 200-томной «Библиотеке Всемир-

ной литературы» (двухтомник «Советская поэзия»). Стихотворения поэтов Карачаево-Черкесии в переводах Леонида Епанешникова печатались в «Литературной газете», «Литературной России», в журналах «Нева», «Дон», «Крестьянка», в журналах для детей «Мурзилка» и «Весёлые картинки». Леонид Фёдорович Епанешников писал басни, сказки (в т. ч. для взрослых), фельетоны. Есть его стихи о космонавтах, труде актёра, о родной партии, к 50-летию Октября и о Великой Отечественной войне.

В 1964 году в издательстве «Советский писатель» вышла книга «В краю степей и гор» с переводами стихотворений поэтов Карачаево-Черкесии, выполненных в том числе и Леонидом Епанешниковым. В книгу вошли переводы стихотворений Пасарби Цекова «Сверстникам» и «Утро в горах».

После окончания Ставропольского педагогического института Леонид Епанешников работал в редакции газеты «Красная Черкессия», затем в газетах «Советская Черкессия», «Ленинское знамя». В архиве редакции «День Республики» сохранились приказы по газете «Красная Черкессия». Один из них свидетельствует, что 21 мая 1946 года в редакцию газеты принят литсотрудником Леонид Фёдорович Епанешников. Через год он уже заведовал отделом промышленности, а душа его тянулась к совершенно другим темам. Он писал рецензии на спектакли, поставленные Черкесским театром драмы, отчёты об областном смотре сельской художественной самодеятельности, о выпускных экзаменах в средних школах, о начале нового учебного года...

В 1959 году Леонид Епанешников переехал в Кисловодск, работал в редакции газеты «Кавказская здравница». Начинал корреспондентом, работал заведующим отделом, ответственным секретарём. В «Кавказской здравнице» поэт вёл страничку «Советы начинающим литераторам», руководил литературным объединением при газете.

Уйдя из журналистики, Леонид Епанешников почти двадцать лет — с 1966 по 1985 годы отработал в редакционно-издательском совете Пятигорского государственного педагогического института иностранных языков. И всё же главным делом его жизни стала поэзия для детей.

IV

С лёгкой руки Георгия Гулиа о талантливом детском поэте Ставрополья узнали в московском издательстве «Детская литература» («Детгиз»). Книжку «Друзья» писатель показал главному редактору издательства. Что он сказал ему при встрече, точно неизвестно. Возможно, вот такая прозвучала оценка творчества детского поэта: «Леонид Епанешников умеет говорить со своим читателем серьезно, задорно-весело и с лукавинкой. Во всех случаях его произведения искренни и доходчивы...»

Шестнадцатистраничная книжка «Автобус» Леонида Епанешникова с замечательными рисунками художника-иллюстратора Геннадия Алимова, напечатанная в 1964 году издательством «Детгиз» тиражом сто тысяч экземпляров, принесла поэту Всесоюзную известность. Книга поступила

во все библиотеки Советского Союза. А имя её автора стали произносить наравне с именами других знаменитых детских поэтов.

Из-под его пера вышли в свет и напечатаны в Ставрополе и Москве книги «Друзья» (1960), «Автобус» (1964), «Здравствуй, новый дом!» (1965), «Весёлые игрушки» (1967), «Солнышко в хлебе» (1972), «Веснушки на опушке» (1974), «Несговорчивый ручей» (1980), «Дедушкина бурка» (1981), «Живой значок» (1983). В 1982 году Епанешников оказался победителем конкурса на лучшее стихотворение для дошкольников. Конкурс проводился по инициативе правления Союза писателей РСФСР. В жюри, которое возглавлял Сергей Михалков, входили известные детские поэты страны. И в том же 1982 Леонида Епанешникова приняли в Союз писателей СССР.

V

В 1983 году редактор Ставропольского книжного издательства Владимир Кудинов вместе с художником Татьяной Литвиновой подготовили и издали книжку Леонида Епанешникова «Живой значок». Тираж у книги с позиции нашего времени был сказочный — пятьдесят тысяч экземпляров.

Перебирая в памяти события давних лет, я вспомнил, что в апреле 1973 года Леонид Епанешников приходил к нам, молодым журналистам, на семинар, организованный редакцией газеты «Молодой ленинец» и её главным редактором Николаем Марьевским. Из того разговора запомнилась одна деталь. «Если в течение дня мне удастся сочинить

хотя бы одну строчку стихотворения, значит, день прожит не зря», — сказал поэт.

О стихах Леонида Епанешникова заговорили в мае 2020 года, когда Ставропольский литературный центр обратился к юным читателям с предложением прочитать вместе стихи одного из лучших детских поэтов Леонида Епанешникова. И зазвучали с мониторов компьютеров стихи поэта нашего детства:

Зелёный Автобус
Бежит по дороге,
Как будто мальчишка
Пылит босоногий...
(«Автобус»).

Андрей-воробей,
Выходи, не робей!
С горки покататься,
Снежками покидаться.
(«Андрей и воробей»).

Книги Леонида Епанешникова сегодня редкость. Их, к сожалению, не переиздают. В библиотеках сохранились единичные экземпляры. Отрадно, что в библиотеках Ставрополья в 2023 году отметили 100-летний юбилей замечательного детского поэта. Во Всемирный день чтения вслух вспомнили лучшие произведения Л. Епанешникова «Живой значок», «Несговорчивый ручей», «Веснушки на опушке», «Дедушкина бурка». В библиотеках открылись книжные выставки под девизом: «Доброе сердце, добрый талант».